

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Мессия.
Ты, Отец, в сердце моем,
и никто Тебя не знает – знаю
только я, Твой сын.
Ахенатон, царь Египта
От Египта воззвал
Я Сына Моего.
Осия. 11, 1
Первая часть. Бунт

I

Тутанкамон – Тутанкатон, посол египетского царя Ахенатона, привез ему чудесный дар с острова Крита, плясунью Дио, жемчужину Царства Морей. Хвастал, что спас ее от смерти; но спас не он. Когда убила она бога Быка на Кносском ристалище, за подругу свою Эйю, принесенную в жертву Зверю, ее присудили сжечь на костре. Но Таммузадад, вавилонянин, любивший Дио, пошел за нее на костер, а Тутанкатон только укрыл ее на своем корабле и привез в Египет.

Прежде чем представить Дио царю в новой столице Египта, Ахенатоне – Городе Солнца, он поселил ее в загородном доме близ Нут-Амона, Фив, у дальнего родственника своего Хнумхотепа, бывшего главного надзирателя житниц Амонова храма.

Удлиненный четырехугольник высоких, как бы крепостных, кирпичных стен окружал поместье Хнумхотепа – скотные дворы, гумна, точила, сеновалы, житницы и прочие службы, а также виноградники и сады, разбитые на правильные четырехугольники – овощной, плодовый, цветочный, лиственный, хвойный, пальмовый – с тремя прудами: одним большим и двумя малыми. Два высоких, в три яруса, дома – зимний, весь кирпичный, и летний, с кирпичным низом и деревянным верхом, стояли друг против друга, на каждом конце большого пруда.

Здесь, в сельском затишье, провела Дио около двух месяцев, отдыхая от всего, что было с нею на Крите, и учась египетским пляскам.

Однажды, в середине зимы, в послеполуденный час, лежа на коврах и подушках на плоской крыше летнего дома, в легкой решетчатой сени с рядом точеных из кедра, узорчато-расписанных и раззолоченных столбиков, она смотрела на солнце в темно-темно, как бы черно-синем небе, таком бездонно-ясном, что казалось, никогда не было в нем и не могло быть облака. Солнце южной зимы – зимнего лета, яркое, но не ослепляющее, теплое, но не жгучее, было как детская улыбка сквозь сон. Полузакрыв глаза, она смотрела на него прямо, и свет его дробился, как слеза на ресницах, алмазною радугою.

«Ра Солнце, Солнце Ра, – лучшего слова для солнца не выдумаешь, чем Ра: Ра рассекает тьму мечом!» – думала Дио.

Мечом свистящего полета рассекали лучезарную тьму синевы зимние ласточки; пели солнцу, кричали, визжали от радости: «Ра!».

Радостно-благостно все. Благость и радость – в воздухе, таком сухом и чистом, как нигде в мире, дающем многолетие живым и нетление мертвым; таком божественно-легком, что в первый раз им дышащему кажется, что камень, давивший ему грудь всю жизнь, вдруг упал, и только теперь узнал он, какая радость дышать.

Вон дерево-чудовище, все в шипах и колючках, с тусклово-свинцовыми, жирными, точно налитыми ядом, суставами, с исполинским, кроваво-красным цветком – разинутой пастью змеи. Но и оно доброе: в благоуханье цветка – сладость райская – радость Ра.

Вон, за слюдяною полоскою Нила, мелкого, зимнего, горы Аменти – Вечного Запада, в солнечно-розовой мгле млеющие, желтые, как львиная шерсть, источенная сотами гробов. Но и смерть здесь благостна: души усопших, как пчелы, собирают мед смерти – вечную жизнь.

«А может быть, у нас на Иде-горе сейчас воет ветер, сосны скрипят, снег валит хлопьями», – подумала Дио, и еще синее сделалось небо, ярче – солнце:

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
захотелось плакать от радости и целовать это небо, солнце, землю, как лица
любимых после долгой разлуки.

Улыбалась знакомому чувству: смерть недаром прикоснулась к ней, когда она лежала на костре, готовую к закланию жертвою: как будто умерла тогда и теперь началась новая жизнь, после смерти: другое небо, другое солнце, другая земля – чужие? – о, нет, роднее родных!

Лежу я, больной от печали;

Врачи меня мудрые лечат.

Подходит любимая к ложу,

Смеется сестра над врачами:

Болезнь мою лютую знает! –

пел вполголоса человек лет тридцати, с женственно-тонким лицом, с большими, грустными, как у большого ребенка, глазами, с бритой, как у жрецов, головой, в белой льняной одежде и леопардовой шкуре, перекинутой через плечо, бывший жрец бога Амона, Пентаур, начальник храмовых певиц и плясуний, учивший дио египетским пляскам.

Стоя на коленях, он едва прикасался концами пальцев к перекрещенным струнам высокой Амоновой арфы с пустым, для усиления звука, деревянным ящиком внизу, украшенным двумя радужными солнцами и головой бога Овна четверорогого.

Тихие звуки струн сопровождали тихую песню. Кончив одну, начал другую:

Каждый раз, как отворится

дверь в доме сестры моей, –

Сестра моя сердится.

Быть бы мне привратником,

Пусть на меня она сердится:

Услыхал бы я голос ее,

Как дитя, испугался бы!

– И все? – спросила дио, улыбаясь.

– Все, – ответил Пентаур, чуть-чуть краснея, как будто стыдясь своей слишком коротенькой песенки. Часто и легко краснел, как маленький мальчик: это было странно, почти смешно в тридцатилетнем человеке, но дио нравилось.

– «Как дитя, испугался бы», – повторила она, уже без улыбки. – да, почти ничего не сказано – и сказано все. Здесь, у вас, в Египте, любовь бессловесна, как небо безоблачно...

– Нет, есть и у нас длинные песни, но я их не так люблю: коротенькие лучше.

Сильно ударили в струны и запел.

Ты для меня желаннее,

Чем хлеб – голодному,

Сила – немощному,

Крик младенца – рождающей! –

плакали струны страстно, почти грубо, как плачут люди от боли, жажды или голода. И вдруг, тонко-тонко, хитро:

Правду люблю, ненавижу лесть:

Лучше мне видеть тебя, чем пить и есть!

– «Любить – пить и есть», – удивилась она, задумалась. – Как грубо – грубо и нежно вместе! А только ведь и это лесть тончайшая...

– Почему лесть?

– Почему? Ах, брат мой, милый, тем-то жизнь и горька, что без воды и без хлеба люди умирают, а без любви живут...

– Нет, тоже умирают, – сказал он тихо и хотел еще что-то прибавить, но посмотрел на нее долго, молча, и грустные глаза его сделались еще грустнее. Опять покраснел и поспешил заговорить о другом:

– Пришлю-ка я тебе плоильщика: вон перья не так лежат.

Протянул руку, чтобы поправить мелко плоенные на рукаве ее складки –

«перья». Дио взяла его за руку. Он хотел ее отнять, но она удержала ее в своей почти насилино, – грубо и нежно вместе, и посмотрела ему в глаза, улыбаясь. Он отвернулся и уже не покраснел, а побледнел чуть заметно под бронзовой смуглостью кожи: «как дитя, испугался».

Так бывало при каждом свидании: прелест ее, всегда новая, удивляла его, как чудо. О, это слишком стройное тело, слишком узкие бедра, угловатость движений, непокорные завитки слишком коротких, иссиня-черных волос, и мужественно-смуглый, девственно-нежный румянец, как розовый цвет миндаля в густеющих сумерках, и темный пушок на верхней губе – «смешные усики»! девушка, похожая на мальчика. Это – всегдашнее; а новое – что девушка вдруг не захотела быть мальчиком.

Отпустила руку его, тоже покраснела и заговорила о другом:

– Виноват не плоильщик, а я сама не умею носить – сразу видно, что не египтянка.

– Нет, не по одежде видно, а по лицу и волосам.

Она не носила парика и даже не заплетала волос в тугие косички, по здешнему обычая.

– А Тута... Тутанкатон говорит, что мне лучше «колокол» идет.

«Колокол» была расширенная книзу юбка критских женщин.

– О, нет! Ты в нашей одежде еще больше... – начал он и не кончил; хотел сказать: «больше сестра», и не посмел: «сестра» по-египетски значит и «возлюбленная». – Еще прекраснее, – кончил он с холодною любезностью.

Оба говорили не о том, о чем думали; думали о важном, а говорили о пустом, как часто бывает, когда один уже любит, а другой еще не знает, полюбит ли.

Дио помнила обет девственных жриц диктейской богини:

Лучше в петлю, чем на ложе
Ненавистное мужей!

Ненавистной казалась ей мужская любовь, как жаркое солнце – подводным цветам. Но вот, и в любви, как во всем: умерла, и началась другая жизнь, другая любовь – любовь сквозь смерть, как солнце сквозь воду, и подводным цветам не страшное; или как это зимнее солнце – детская улыбка сквозь сон.

– Когда едешь? – спросил он опять о самом важном как о пустом.

– Не знаю. Тута торопит, а мне и здесь хорошо...

Посмотрела на него, улыбнулась, и мальчик исчез, осталась только девушка.

– Хорошо с тобой, – прибавила так тихо, что он мог и не слышать.

– Уедешь, и больше никогда не увидимся, – сказал он, опустив глаза, как будто не слышал.

«Мальчик мой робкий, смешной – зимнее солнышко!» – подумала она с веселою нежностью и сказала:

– Отчего никогда? Ахетатон от Фив недалеко.

– Нет, город его для нас – тот свет... «Его – царя Ахенатона», – поняла она.

– А ты на тот свет и со мной не хочешь? – спросила с лукавым вызовом.

– Зачем ты так говоришь, Дио? Ты же знаешь, что я не могу...

Не кончил, и она опять поняла: «Не могу переступить через веру отцов, через кровь отца». Знала, что отец его, старый жрец Амона, был убит в народном восстании против нового бога Атона.

Слезы задрожали в голосе его, когда он сказал «не могу»; но он заглушил их и заговорил спокойно:

- Не выходи сегодня из дома.
- А что?

Он подумал и сказал:

- Может быть бунт.
- Полно, какой у вас бунт! – рассмеялась она. – Вы, египтяне, самые мирные люди на свете.

Посмотрела на него как на маленького мальчика и спросила:

- И ты бунтовать пойдешь?
- Пойду, – ответил он все так же спокойно, но что-то блеснуло в глазах его, что опять напомнило ей, что отец его умер в бунте.
- Нет, не ходи, милый! – проговорила она с внезапной тревогой.

Он ничего не ответил и снова тихо запел, перебирая струны:

Ныне мне смерть, как мирия сладчайшая,
Ныне мне смерть, как выздоровление,
Ныне мне смерть, как дождь освежающий,
Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!

– Ай-ай-ай! Что это? – закричала спавшая тут же, в беседке, девочка.

Сидя на верхушке дерева, маленькая ручная обезьянка ела какие-то желтые стручки и кидала шелуху в беседку, стараясь попасть в девочку или в спавшую у ног ее, тоже ручную, газель-сосунку. Долго не попадала. Наконец, повисла, уцепившись одной лапкой за ветку, а другую – кинула горсть шелухи и попала в газель. Та вскочила, заблеяла, подошла к девочке и лизнула ее языком в лицо.

Девочка тоже вскочила и закричала в испуге:

- Ай-ай-ай! Что это?

Ей было лет тринадцать. В тонком и гибком, как змейка, бронзово-смуглом тельце, сквозившем сквозь призрачно-прозрачную ткань – «тканый воздух», странно сочетались ребенок и женщина. Бронзово-розовые кончики сосцев, уже крепко, по-девичьи, круглившихся, подымали, точно пронзали, остриями ткань, а в глазах была еще детская шалость, и в толстых, точно надутых, губках – детская жалобность. Крошечным казалось под огромною шапкою тусклочно-черных, пушистых, синею пудрою напудренных волос личико, некрасивое, прелестное и опасное, как змеиная мордочка.

Мируйт была одной из лучших плясуний, учениц Пентаура; на ее примере он учил Дио.

Заломила руки над головою, потянулась и сладко зевнула, все еще не понимая, что случилось. Вдруг новая горсть шелухи упала к ногам ее. Глянула вверх – поняла.

- А-а, чертовка голозадая! – закричала опять и, схватив глиняный кувшинчик из-под гранатовой наливки – напилась ею давеча, за полдником, оттого и уснула так сладко, – бросила его в обезьянку.

Та злобно зашипела, защелкала зубами, – перескочила на соседнюю пальму и спряталась в листьях – только веера их сухо зашуршали.

- Что это, право, за наказанье! Только что начнет что-нибудь хорошее сниться, непременно разбудят, – проворчала Мируйт.

- А что тебе снилось? – спросила Дио.

- Мало ли что! Такое хорошее, что и сказать нельзя... Вдруг подошла к Дио, нагнулась и зашептала ей на ухо:

- О тебе. Будто ты меня... Нет, нельзя при нем, подслушает, выдерет за уши...
- Выдеру и так, егоза! Думаешь, не знаю, куда каждый день шляешься!
- Вот, спасибо, напомнил. Опоздала, опоздала! Ждет меня купец мой, ругается, а как раз обещал ожерелье. Мое-то вон как обшмыгалось, стыдно надеть.
- Скверная девчонка, распутная! – закричал на нее Пентаур с внезапною злобою. – Со псом нечистым снюхалась, с необрзанным!
- Пес, да кормилец, не свят, да богат, а из вашей святости похлебки не сваришь! – огрызнулась девочка бойко и дерзко, подражая старым колотовкам на рынке. – Ни муки, ни крупы, ни пива, ни масти – вот уже пятый месяц, шутка сказать! Подвело нам животы на голодном пайке, отощали, как саранча на Соляных Озерах. Сытый бес крепче голодного бога; и чужой Вааль душу напитал, а свой Овен смирен, да не жирен!
- Ах ты, негодница! В яму захотела?
- В яму? Нет, господин, руки коротки! Времена нынче не те, чтобы в яму невинных сажать. Тронь только пальцем, убегу – не поймаешь! Я – вольная птица: где корм, там и дом.

Птицы Аравийские,
Миррой умащенные! –
запела она, закружила бубен над головой и побежала к лестнице. Газель, как собачонка, за нею.

На верхней ступени Мируйт столкнулась с Диной старою нянею, Зенрою, и едва не сшибла ее с ног.

- Ах, чтоб тебя, коза шалая! – выругалась та, подошла к Дио и подала ей письмо. Дио распечатала его и прочла:

«Еду завтра. Если хочешь со мною, будь готова. Сегодня, до захода солнца, мне надо тебя видеть. Буду ждать в Белом Доме. Пришлю за тобою лодку. Да хранит тебя Атон. – Твой верный друг Тутанкатон».

- Посланный ждет. Что сказать? – спросила Зенра.
- Скажи, буду.

Когда Зенра ушла, Дио взглянула на Пентаура.

Как все жрицы Великой Матери, она была искусною врачихою; видала, как люди умирают, и помнила ту роковую печать – знак смерти, который иногда является на лицах перед близким концом.

Вдруг почудился ей этот знак на лице Пентаура. «Молод, здоров, никакой опасности... Бунт? Нет, вздор!» – подумала, взгляделась – и знак исчез.

- Едешь? – спросил он тихо, но так твердо, что она поняла, что нельзя обманывать.
- Тута едет завтра, а я еще не знаю. Может быть, и не поеду...
- Поедешь. Сама хотела поскорей.
- Хотела, а вот, вдруг забоялась.
- Чего?
- Не знаю. На костре тогда не сгорела, а теперь – точно из одного огня в другой... Помнишь, ты мне говорил о царе...
- Не надо, Дио. Зачем? Ведь все равно поедешь...
- Нет, надо. Гаур, брат мой милый, если любишь меня, скажи все, что знаешь о нем. Я хочу знать все!

Взяла его за руку, и он уже ее не отнимал.

– Все равно поедешь, поедешь, – повторял уныло. – Любишь его, оттого и боишься; знаешь, что не уйдешь; как мотылек, летишь на огонь. В том огне не сгорела – в этом сгоришь...

Помолчал и спросил:

- К Птамозу пойдешь?
- Пойду непременно, без того не уеду.
- Ступай. Он все знает – лучше моего скажет.

Птамоз, первосвященник Амона, злой враг царя Ахенатона, давно уже звал к себе Дио, но она все не шла и только теперь, перед отъездом, решила пойти.

– Что мне Птамоз? – продолжала она. – Я от тебя хочу знать. Ты прежде любил его, за что же теперь ненавидишь?

– Я не его ненавижу. Знаешь, Дио, мне иногда кажется... Он посмотрел на нее с твою улыбкою, с которой очень испуганные дети смотрят на взрослых.

– Ну, говори же, не бойся, я все пойму!

– Мне иногда кажется, что он – не совсем человек...

– Не совсем человек? – повторила она с удивлением: что-то было в лице и голосе его знающее, видящее.

– Есть такие куколки, – продолжал он, все так же улыбаясь, – дернешь за ниточку, пляшут. Вот и он так: сам ничего не делает, а кто-то за него. Не понимаешь? Может быть, когда увидишь, поймешь.

– А ты его часто видел?

– Часто. Вместе учились у гелиопольских жрецов. Он, я и Мерира, нынешний великий жрец Атона. Мне было тогда тринадцать, а царевичу четырнадцать. Очень был хорош собой, весь тихий-тихий, как бог, чье имя – «Тихое Сердце».

– Озирис?

– Да. Полюбил я его, как душу свою. Он часто уходил в пустыню молиться, а может быть, и так просто, побывать одному. Вот раз ушел и долго не возвращался. Искали, искали, думали, совсем пропал. Наконец, нашли у пастухов, на Ростийском поле, где пирамиды и Сфинкс – древний бог солнца, Атон. Лежал на песке, как мертвый, должно быть, после падучей – тогда у него и начались припадки. А как привезли в город, я его не узнал: он и не он, точно двойник его, оборотень, или вот, как я давеча сказал: не совсем человек. Может быть, там, в пустыне, он в него и вошел...

– Кто он?

– Дух пустыни, Сэт.

– диавол?

– По-вашему, диавол, а по-нашему, другой бог. Ну вот, с этого все и началось...

– Постой, – перебила она. – Ты говоришь, Атон – древний бог?

– Древний, древнее Амона.

– И вы его чтите?

– Чтим, как всех богов: все боги – члены Единого.

– Из-за чего же спор?

– А ты думала, из-за этого? Полно, не такие мы дураки, чтобы не знать, что

Амон и Атон – один бог. Лик Солнца видимый – Атон, сокровенный – Амон, но Солнце одно, один бог. Нет, спорят не Атон с Амоном, а Сэт с Озирисом. Сэт Озириса убил и растерзал: убить, растерзать хочет и святую землю Египта, тело Озириса. Для того и вошел в царя... Ты меня не слушаешь, Дио?

– Нет, слушаю. Но ты все говоришь о том, кто в него вошел, а сам-то, сам-то он кто? Или просто злодей?

– Нет, не злодей. В том-то и хитрость диавола, что не в злодея вошел, а в святого. Погибает земля в войне братоубийственной, нивы запустели, житницы разграблены, кожа людей почернела, как печь, от жгучего голода, матери варят детей своих в пищу себе, и это все сделал он, святой. И хуже сделал: Бога убил. «Нет Сына, сказал, я – Сын!»

– Никогда, никогда он этого не говорил! – воскликнула Дио, и глаза ее загорелись таким огнем, как будто и в нее вошел Сэт. – «Не было Сына – Сын будет» – вот что он говорит. Был или будет, был или будет – в этом все!

– Проклят, кто говорит: Сына не было! – сказал Пентаур и побледнел.

– Проклят, кто говорит: Сына не будет! – сказала Дио, тоже бледнея.

И оба замолчали – поняли, что прокляли друг друга.

Он закрыл лицо руками. Она подошла к нему и молча поцеловала его в голову, как мать целует больного ребенка. Вглядилась в лицо его, и вдруг опять почудилось ей, как давеча, что на нем – знак смерти:

Ныне мне смерть, как мицца сладчайшая,
Ныне мне смерть, как выздоровление,
Ныне мне смерть, как дождь освежающий,
Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!

II

Хnumхотеп был человек справедливый и богобоязненный.

Дио принял он в свой дом как родную, не потому, что ей покровительствовал могущественный вельможа, Тутанкатон, а потому, что сами боги покровительствуют изгнанникам. Будучи главным начальником Амоновых житниц, мог брать взятки, как брали все; но не брал. Когда святилище Амона закрыли и Хnumхотеп потерял свою должность, он мог получить другую, лучшую, если бы изменил вере отцов; но не изменил. Мог продавать, во время голода, за какую угодно цену хлеб из земель своих в Стране Озер, Миуэр, не потерпевших от засухи; но продавал его дешевле, чем всегда, и целую житницу роздал голодным. Так жил он, потому что помнил мудрость отцов: «Жив человек после смерти, и все дела его с ним»; помнил две чаши весов: на одной – сердце умершего, а на другой – легчайшее перо богини Маат – Истины, и зоркое око бога Тота, Измерителя, следит за стрелкой весов.

В молодости он сомневался, не лучше ли краткий день жизни, чем темная вечность, и не правы ли те, кто говорит: «Умер человек – как пузырь на воде лопнул – ничего не осталось». Но к старости все больше узнавал – осознал, как рука осознает завернутый в ткань предмет, что там, за гробом, что-то есть, и так как никто не знает, что именно, то проще и умнее всего – верить, как верили отцы.

Хnumхотепу – Хnumу – было лет за шестьдесят, но он не считал себя стариком, надеясь исполнить меру человеческой жизни – сто десять лет.

Лет сорок назад начал себе строить «вечный дом» – гроб, на Горе Запада – Аменти, тоже по завету отцов: «Гроб себе готовь прекрасный и помни о нем во все дни жизни твоей, ибо не знаешь часа, когда придет смерть». Сорок лет рыл в скале глубокую пещеру-гробницу с подземными ходами и палатами, украшал ее, как брачный чертог, и собирая в ней душу своей, невесте, приданое. Делал все это весело, потому что сказано: «Гроб, ты сделан для празднества; ты вырыта, могила, для веселья».

В тот послеполуденный час, когда на плоской крыше Хnumова летнего дома беседовали Дио с Пентауром, – на другом конце большого пруда, у зимнего дома, в легкой, деревянной, на четырех столбиках, беседке сидел Хnum в резном из черного дерева кресле с кожаной подушкой и подножной скамьей, а

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
рядом с ним, на низеньком складном стульце, – жена его, Нибитуйя.

На обоих были одежды-рубахи; узкая, в обтяжку, длинная, по щиколку, на ней, а на нем – пошире и покороче; обе из белого, мелко плюсенного льна, не слишком прозрачного, как пристойно людям пожилым; ноги босы: кирпичный пол беседки был устлан для теплоты циновками, и мальчик-слуга держал наготове папирусные лапотки.

Сняв парик с коротко подстриженных седых волос, Хнум повесил его рядом с собой на деревянный болванчик – мужчины снимали парики, как шапки; а на голове Нибитуйи он возвышался, огромный, черный, глянцевитый, точно лакированный, с двумя, по бокам, толстыми, туго закрученными и закинутыми за уши жгутами, загибавшими тяжестью своею уши вперед, что придавало сморщенному лицу старушки сходство с летучей мышью.

Хнум был так высок ростом, что маленькая Нибитуйя казалась перед ним почти карлицей; прям, сух, костляв, с жестоким, точно из твердого коричневого дерева выточенным, угрюмым и как бы злым лицом; но когда он улыбался, оно становилось очень добрым.

В будни, с утра до вечера, хлопотала Нибитуйя по хозяйству, в ткацких, швальнях, стряпущих и портомайнях, а в праздники, как сегодня – день лунного бога, Хонзу, – давала себе отдых за легким и в то же время богоугодным делом. На круглом, низеньком столике стояли перед ней два горшочка и две кошелки; из одной вынимала она мертвых жуков, жужелиц, бабочек, пчел, кузнецов, вспарывала им брюшки кремневым ножичком и, зачерпнув из одного горшочка на костяную ложечку каплю аравийской камеди, а из другого – ливанской кедровой смолы, умащала покойников; пеленала их в белые льняные пеленочки, как настоящие мумии, и клала в другую кошелку. Все это делала проворно и ловко, как привычное женское рукоделье. В саду была песочная горка Аменти – Вечного Запада – кладбище для этих мумиек.

Перед Хнумом сидел на полу, скрестив ноги, человек средних лет с веселым и хитрым лицом, писец Межевого приказа, Иниотеф – Иний, управитель Хнумовых земель, стряпчий и ходок по делам. Он был в одном переднике; туловище голое; у пояса чернильница, за ухом писчий тростник, в руке папирусный свиток со счетом только что доставленных по реке, на баржах, хлебных кулей с Миуэра.

- Когда пришел указ? – спросил Хнум.
 - В ночь, и должен быть исполнен сегодня же, солнце да не зайдет в непослушании царю, – ответил Иний.
 - Так-так-так! – задолбил, как дятел, Хнум: имел такую привычку. – Гнали Отца, гнали Матерь, а нынче принялись и за Сына!
- Сын был Хонзу – Озирис Фиванский, рожденный от Отца Амона и Матери Мут.
- Как же его истребят? Ведь он золотой, – сказал Хнум.
 - Бросят в печь, расплавят, понаделяют золотых дебенов, накупят хлеба и раздадут голодным: «Ешь бога, славь царя!» – объяснил Иниотеф.
 - Как же так нехорошо? Ухух, помилуй, ухух, помилуй! – завздыхала Нибитуйя.

Ухух был очень древний бог, всеми забытый: ни кумира, ни храма, ни жертв, ни жрецов – ничего у него не осталось, кроме имени. Люди помнили только, что был какой-то бог Ухух, а над чем и какой из себя, давно забыли. Но Нибитуйя за то и любила, жалела его и в трудные минуты жизни призывала не великого Амона, а Ухуха малого. «Никто-то ему не помолится, бедному, а вот я помолюсь, он меня и помилует!» – говорила старушка.

- Ну, а что же народ? – спросил Хнум.
- В ихний хлеб не очень верит, – ответил Иний, лукаво щурясь. – «Всё-де разворуют царские писцы, Атоновы прихвостни, – мимо рта у нас пройдет!» Ну, и жрецы поджигают: «Станьте, говорят, люди, за бога, не выдавайте на поругание лика пречистого!» А такие речи в народ – что огонь в солому. Сам, господин, знать изволишь, время нынче какое, долго ли до бунта!

- Так-так-так, страшное дело бунт!
- Чего страшнее! Сказано: «Потрясется земля, не вынесет, чтоб господами были рабы». Ну, да ведь и то сказать: чего ждать от рабов, когда царь...
- О царе не смей, рыбы съедят! – остановил его Хнум. Это значило: кто царя похулит, будет после смерти брошен в реку на съедение рыбам.
- А второй указ о чём?
- О гробничных землях, чтоб в казну отбирать: отберут у богатых и поделят бедным: полно-де мертвым живых объедать!
- Так-так-так, – задолбил Хнум и замолчал, загляделся на Нибитуйны быстро шевелившиеся ручки, пеленавшие мумию кузнечика.
- Ухух, Ухух, помилуй! – опять завздыхала она и, оставив кузнечика недопеленутым, подняла на мужа круглые от испуга глаза. – Как же так, Хнум, чем же будут кормиться покойнички?
- Молчи, старая, не твоего ума дело, знай своих жужелиц! – проворчал он, потрепал ее по плечу, улыбнулся, и лицо его сделалось очень добрым, странно похожим на лицо жены, несмотря на разность черт; казалось, что это брат и сестра: так часто бывают похожи к старости дружно живущие супруги. – Сыты будут мертвые, небось; как бы только нам, живым, не пришлось хуже мертвых!
- – прибавил он угрюмо.
- В самом деле, не очень боялся за мертвых. Если бы вышел указ, чтобы людям хлеба не есть, пива не пить, – ели-пиши бы по-прежнему: то же будет и с этим указом: живые мертвых кормить-поить не перестанут, потому что весь Египет на том и стоит, что у живых и мертвых – хлеб один, одно пиво – плоть и кровь бога Хонзу Озириса, сына Божьего.
- А придется-таки взятку дать Атоновым сыщикам, – продолжал Иниотеф.
- Бесстрашие Хнума не нравилось ему: по дурной привычке слишком бойких слуг, он любил пугать господина, чтобы выказать перед ним свою важность.
- Пронюхали, псицыны дети, что в гробнице у милости твоей два Амонова лика не замазаны. «Надо, говорят, осмотреть». А найдут – беда: всё разорят, запакостят, а то и в суд потащат – не развязешься!
- Как же узнали? – удивился Хнум.
- Кто-нибудь донес.
- Кому бы? Никто из чужих не видал.
- Значит, из своих.
- Это он, он, он, юбра, злодей, змея подколодная! – всплошилась Нибитуйя.
- Говорила я тебе, Хнум: не держи эту язву в доме, сошли его на Красную гору бить камни или каналы рыть в Устьи, чтобы его трясовица тряслася, окаянного! Снююхался недаром с Атоновыми слугами. Дело-то какое сделал, подумать страшно, на святых Ушебти руку поднял, безбожник! А ты его милуешь...
- В яму посадил, чего еще?
- Что ему яма, змее! В яме-то еще слаще, чем на работе, бездельнику. Я ведь знаю, Хнум, ты ему от меня потихоньку два каравая хлеба на день выдаешь да пива горшок. Жрет, боров, жиру нагуливает да над тобой же смеется, дрыхнет весь день и песни поет богу своему нечистому, тьфу!
- Да ты-то чего взбеленилась, жужелица? – проговорил Хнум и посмотрел на нее с удивлением.
- Обменялись глубоким взором, и он от нее отвернулся, сурово нахмурился. А Нибитуйя встала и поклонилась мужу низко, в пояс:
- Прости, господин, рабу свою, если что не так молвила сдуру. Лучше моего

все знать изволишь. А только боязно, – не утерпела, посмотрела на него опять глубоким взором, – ох, боязно мне за тебя, Хнум! Любишь ты его, балуешь, а он на тебя жало точит, за твое же добро на тебя злобствует, а такая злоба злее всех...

Иний исподтишка улыбался: добился-таки своего – встревожил господ, хотя и сам еще не знал чем: не такая-де птица юбра, чтобы из-за него тревожиться.

– Ну, ладно, – проговорил Хнум, как бы очнувшись. – Все пустое. Юбра я не со вчерашнего знаю: глуп, как осел, а этого... этого не сделает: верный слуга...

И вдруг, оборвав, спросил Иния:

– Новый хлеб ссыпают?

– Так точно, господин.

– Ну-ка, пойдем, посмотрим; опять не умнут, лентяи, как следует.

Встал и пошел через сад на гумно.

«Мертвые мухи портят благовонную мазь мироварника: то же делает и малая подłość со всею жизнью человека почтенного», – часто думал Хнум с горькой усмешкой в последние дни. Вот что произошло в доме его.

Мудрые знают, что тот мир, «второй Египет», совершенно подобен этому, хотя и обратным подобием, как бы опрокинутым в зеркале; здесь всё к худу, к смерти, а там – к добру, к вечной жизни. Но и там, в небесных полях Иалу,правляют блаженные Ка, тени умерших, все полевые работы – пашут, сеют, жнут, собирают в житницы, и роют каналы, и строят дома. Для этих работ господам нужны рабы. Вот почему ставились в гробницах триста шестьдесят пять – по числу дней в году – глиняных куколок-мумиек: каждая – с заступом в руке, с мелким рабочим снарядом в мешке за плечами и с иероглифами на груди надписью: «Ты, Ушебти, Ответчик, такой-то, принадлежавший господину такому-то, буду ли я бран, буду ли я зван на работу, – стань за меня, вынь за меня, молвь за меня: „Здесь!“ В воскресение мертвых, когда оживут господа, оживут и рабы, Ответчики, и выйдут на работу в полях Иалу, потому что и там, как здесь, рабы работают, а господа празднуют».

Хнум заказал на пробу две дюжины Ответчиков гробовых дел мастеру, глиноваяителю. Тот вылепил их так искусно, что можно было узнать по лицикам куколок, кого из Хнумовых слуг изображает каждая: это нужно было для того, чтобы душа могла найти свое тело.

Когда мастер принес куколки, Хнумовы рабы выбежали к нему навстречу и обступили его в воротах, у келийки привратника, старого юбры, толкаясь, крича, смеясь и радуясь, как дети: каждому хотелось поскорее найти и узнать свою куколку. «Где я? Где я?» – спрашивали все наперерыв.

Подошел и юбра и тоже спросил: «Где я?» Мастер подал ему куколку. Юбра взял ее в руки, осмотрел, попросил прочесть надпись и вдруг, точно бес в него вошел, вспоминали потом очевидцы, – весь потемнел, очугунел в лице, затрясся, закричал: «Не хочу! Не хочу!» – и, размахнувшись куколкой, грянул ее оземь, так что полетели только глиняные осколки. Все остолбенели. А он начал бить и другие куколки, расставленные в порядке на гладильной доске из прачечной. Кинулись на него, хотели удержать, но долго не могли: отбивался, как бешеный. Наконец, когда перебил уже больше половины, осилили его, связали и повели на суд к Хнуму.

Святотатство было ужасное: всякая мумия, не только человеческая, но и звериная, есть тело самого умершего бога, Озириса-Аменти.

Когда Хнум спросил юбру, зачем он это сделал, тот ответил тихо и твердо:

– Чтобы душу спасти. Здесь раб, а там свободен!

И больше ничего не могли от него добиться.

Хнуму казалось, что юбра внезапно лишился рассудка или что, в самом деле, в него вошел бес. Жалко было старого, верного раба. Совсем его простить Хнум

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
не мог, но наказал легко, даже бить не велел, а только посадил в яму;
думал, опомнится. Но Юбра уже пятый день сидел и не опоминался.

А Хнумовой милости к нему была причина особая.

В молодости Хнум любил охотиться на крокодилов в Стране Озер, Миуэр, где было у него большое поместье у города Шедета, посвященного богу Солнца, Собеку, крокодилоглавому. Здесь, во время охоты, живал он по несколько дней.

Каждое утро, когда он еще лежал на ложе, приносила ему свежевымытую и выплоенную, белую одежду-рубаху искусная прачка, пятнадцатилетняя Маита, сестра-жена молодого садовника Юбры: бедные люди часто женились на сестрах, чтобы не делить имущества.

А в сумерки слышал Хнум, как на заднем дворе, где опускались в пруд мостки от прачечной, шлепал звонкий валек по мокрому белью и детски-девичий голос Маиты пел:

На том берегу – сестра моя,
между нами – заводь речная,
крокодил – на отмели песчаной;
но в воду схожу я без страха,
вода для ног моих – суша;
любовь укрепляет мне сердце,
любовь – чара могучая!

Но по голосу ее слышно было, что она еще не знает, что такое любовь. «Скоро узнает», – думал с тихою жалостью Хнум. А однажды запела она другую песенку:

Говорит гранатовое дерево:
«Круглость плодов моих – груди ее,
зерна плодов моих – зубы ее,
сердце плодов моих – губы ее.
Что же делает с братом сестра,
пеною вин опьяненная, –
скрыто ветвями дремучими!»

И в первый раз послышалось Хнуму в детском голосе Маиты что-то недетское. «Будет как все», – подумал он уже без всякой жалости, и вдруг Сэтово пламя пахнуло ему в лицо, похоть, как тарантул, укусила за сердце.

Знал, что ни люди, ни боги не осудят его, если он, господин, скажет рабе: «Взойди на ложе мое!» – так же просто, как сказал бы в жаркий день: «дай мне пить!». Но Хнум недаром был человек справедливый и богобоязненный. Помнил, что, кроме жены Нибитуи, у него двенадцать наложниц и сколько угодно прекрасных рабынь, а у Юбры – одна Маита. Отнимет ли господин последнюю овечку у раба своего? «да не будет!» – решил он, уехал из Страны Озер и больше не возвращался туда.

Но Маита не забыл. Пламя Сэтова попала кости его, как вихрь пустыни – стебли трав. Не ел, не пил, не спал; исхудал, как щепка.

Нибитуйе ничего не говорил, но она сама догадалась.

Однажды, в загородном доме близ Фив, рано поутру, когда он еще спал, разбудила его Маита, войдя к нему со свежевымытою белою одеждой. Он подумал, что видит ее во сне или в видении; когда же понял, что наяву, спросил:

- Где брат твой, Юбра?
- Далеко-далеко, за морем, – ответила она и заплакала. Потом тихонько подошла к нему, села на край ложа, покраснела, потупилась и улыбнулась сквозь слезы:
- Госпожа прислала меня к господину моему. Вот, раба твоя!

И Хнум ее больше о Юбре не спрашивал.

Этот год был счастливейшим в жизни его, и счастливее всего было то, что Нибитуйя полюбила Маиту также, а, может быть, и больше, чем он. Ревновала

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
его не к ней, а к другим женщинам и даже, странно сказать, к самой себе. А Хнум не знал, кого любит больше – госпожу или рабыню: эти две любви сливались в одну, как два запаха в одно благоуханье.

И теперь, через тридцать лет, вспоминая об этом, шептал он со слезами нежности к старой подруге своей: «Жужелица моя бедная!»

Юбру-садовника услала Нивитуйя в Ханаан, собирать для Хнумовых садов заморские цветы и злаки. А когда он через год вернулся, Маиты уже не было в живых: умерла от родов.

Хнум облагодетельствовал Юбру: подарил ему прекрасный участок земли, четыре пары волов и новую жену, одну из своих наложниц. Помнил ли Юбра Маиту или забыл ее с новой женой – никто не знал, потому что он никогда не говорил об этом и виду не показывал.

Когда же состарился и не мог больше работать в поле, Хнум принял его в свой дом на почетную должность привратника.

Тридцать лет Юбра был послушным рабом и вот вдруг возмутился, сказал:

– Не хочу! Здесь раб, а там свободен.

Тридцать лет не думал Хнум, что сделал злое дело с Юбром, и вот вдруг подумал:

«Мертвые муки портят благовонную масть мироварника; то же делает и одна малая подłość со всею жизнью человека почтенного!»

III

Глинобитные конусы-житницы стояли у задней стены житного двора. Наверху у каждой было круглое отверстие длясыпки зерна, а внизу – оконце с подъемной дощечкой для высыпки.

Голые рабы, кирпично-смуглые, в белых передниках и белых скуфейках-потничках, всходили по лесенкам к верхним отверстиям конусов исыпали в житницы зерно, струившееся с тихим шелестом, как жидкое золото.

Это был новый хлеб с Мицрских Озер. Хнум, глядя на него, вспомнил о голодных и велел им раздать целую житницу.

Потом прошел на скотный двор, где была яма-темница, четырехугольная, с кирпичными стенками, кирпичным помостом-крышею и зарешеченным в ней оконцем.

Хнум подошел к яме, наклонился к оконцу и услышал тихое пенье:

Хвала тебе, живой Атон, единый Бог,
Небеса сотворивший и тайны небес!
Ты – в небесах, а на земле – твой сын,
Радость-Солнца, Ахенатон!
Вдруг сидевший в яме, должно быть, увидев Хнума, запел громко и, как показалось ему, с дерзким вызовом:

Когда за край неба заходишь ты,
Жизнью твою оживают мертвые;
даешь ты дыхание ноздрям недышащим,
Расширяешь горло стесненное,
И, прославляя тебя из гробов своих,
Воздевают усопшие длань свои,
Веселятся под землею сущие!

Хнум отошел от ямы, вернулся в беседку у большого пруда и сел на прежнее место, рядом с Нивитуйей, продолжавшей пеленать своих жужелиц. Иниотеф начал читать новый нескончаемый счет хлебных кулей.

Хнуму сделалось скучно. Прислушался к зловещей тяжести в правом боку, под нижним ребром: страдал болезнью печени. Отец его умер от той же болезни в восемьдесят лет. «Может быть, и я умру, не насытившись днями», – подумал он.

Любил, чтобы каждый день приносили ему что-нибудь из могильного приданого. Сегодня принесли священного навозного жука – Хепэра, из лapis-лазури.

Золотой жук Солнца, Ра-Хепэр, катит по небу свой великий шар, так же как навозный жук по земле – свой маленький шарик. Солнце – большое сердце мира; сердце человека – малое солнце. Вот почему вкладывался в мумию, вместо вынутого сердца, солнечный жук Хепэр с иероглифной надписью – молитвой умершего на Страшном суде: «Сердце рожденья моего, сердце матери моей, сердце земное мое, не восставай на меня, не свидетельствуй против меня!»

«А мое-то, пожалуй, восстанет», – подумал Хнум, вспомнив о Юбре, и усмехнулся: «Удивительно! Нашли с чем сравнить солнце – с навозным жуком... Ну, да, впрочем, когда хорошо на сердце, и навоз – как солнце, а когда скверно, и солнце – навоз!»

Вспомнил другую молитву умерших:

«Да гуляет душа моя каждый день в саду, у пруда моего; да порхает, как птица, по веткам деревьев моих; да отдыхает в тени сикоморы моей; да восходит на небо и нисходит на землю, ничем не удержаня».

«А может быть, все это вздор? – подумал он, как в молодости думывал. – Умрет человек – как пузырь на воде лопнет, – ничего не останется. И хорошо бы так, а то ведь, пожалуй, и там заскучаешь?...»

Видел однажды затмение солнца: только что был ясный день, и вдруг все потемнело, посерело, точно подернулось пеплом, и заскучало, замерло, умерло. Так вот и теперь: «Это от печени, – подумал он, – а также от Юбры...»

– С этим кончить надо, – проговорил вслух. – Ступай, приведи его сюда!

– Кого, господин? – спросил Иниотеф и посмотрел на него с удивлением.

Нибитуйя тоже подняла глаза с тревогой.

– Юбру, – ответил Хнум.

В это время Дио и Пентаур сошли с крыши летнего дома в сад: Зенра доложила Госпоже своей, что Тута прислал за нею лодку.

Когда они проходили мимо беседки у большого пруда, Хнум окликнул их и сказал:

– Буду сейчас судить Юбру, раба моего. Будьте и вы судьями.

Усадил Пентаура рядом с собою, а Дио села на циновку, рядом с Нибитуйей.

Привели Юбру со связанными за спиной руками и поставили на колени перед Хнумом. Это был маленький старичик со сморщенным, темным лицом, похожим на камень или глыбу земли.

– Ну что, Юбра, долго ли будешь в яме сидеть? – спросил Хнум.

– Сколько милости твоей будет угодно, – ответил Юбра, опустив глаза, как показалось Хнуму, с тем же вызовом, с каким давеча, сидя в яме, пел песнь Атону.

– Слушай, старик, я тебя помиловал, под суд не отдал, а знаешь, какая тебе по закону казнь? Закопают живым в землю или бросят в воду с камнем на шее.

– Ну что ж, пусть за правду казнят.

– За какую правду, за какую правду? Толком говори, что тебе тогда попрятчилось, за что на святых Ушебти руку поднял?

– Я уж говорил.

– Скажи еще раз, язык не отвалится.

– За душу. Чтобы душу спасти. Здесь раб, а там свободен. Помолчал и потом заговорил вдруг изменившимся голосом:

– Там беззаконные перестают буйствовать, и там отдохают истощившиеся в силах: узники вместе покоятся и не слышат голоса тюремщика; там малый и великий равны и раб свободен от господина своего!

Опять помолчал и спросил:

- Притчу о бедном и богатом знаешь?
- Какую притчу?
- Хочешь скажу?
- Говори.

– жили на свете два человека, бедный и богатый. Богатый роскошествовал, а бедный мучился. И умерли оба, и похоронили богатого с почестью, а бедного бросили, как мертвого пса. И предстали оба на суд Озириса. Взвешены были дела богатого, и вот, злых дел его больше, чем добрых. И положили его под дверь, так что дверной крюк вошел ему в глаз и вертелся в нем, когда дверь открывалась и закрывалась. Взвешены были и дела бедного, и вот, добрых дел его больше, чем злых. И облекли его в ризу из белого льна и посадили за вечерю, одесную бога.

- Так-так-так. О ком же притча? О тебе и обо мне, что ли?
- Нет, обо всех. Видел я всякие угнетения, какие совершаются под солнцем, и вот, слезы угнетенных, а утешителя нет; и сила в руке угнетающего, а заступника нет. Сталкивают бедных с дороги, принуждают скрываться всех страдальцев земли; отторгают от сословов сироту и с нищего берут залог. Из города стоны людей слышны, и вопиет душа убиваемых...

Вдруг поднял глаза к небу, и лицо его точно светом озарилось.

– Благословен Грядущий во имя Господне! Он сойдет, как дождь на скошенный луг и как роса на землю безводную; души убогих спасет и смирит притеснителей. И поклоняются Ему все народы, и будут служить Ему. Вот Он идет!

Хnum слушал со скукой; скука была та же, тот же темный свет в глазах, как при затмении солнца. И это все от Юбры. Позвал его на суд, а вот, как будто не он, господин, судит раба своего, а тот – его.

- Кто идет? Кто идет? – закричал он с внезапною злобою. Юбра ответил не сразу. Глянул на него исподлобья, как будто опять с насмешливым вызовом.
- Второй Озирис, – произнес, наконец, тихо.
- Что ты мелешь, дурак? Один Озирис, второго не будет.
- Нет, будет!

– Это он от Иадов – Пархатых – наслушался об ихнем Мессии, – заметил Иниотеф с презрительной усмешкой.

Юбра молча покосился и потом проговорил еще тише:

- Сына не было; сын будет!
- Что-о? Сына не было? Ах ты окаянный! Так вот ты на кого руку поднял? – закричал в бешенстве Хnum.

«Печень в голову кидается», – говаривал лечивший его врач о таких внезапных припадках бешенства.

Весь побагровел, тяжело поднялся с кресла, подошел к Юбре, схватил его за плечо и потряс так, что он зашатался, как былинка.

– Вижу, вижу тебя насквозь, бунтовщик! Только смотри у меня, я шутить не люблю...

- Ухо раба на спине его: растянуть бы да выпороть, живо бы дурь соскочила,
- поджигал Иниотеф.

Юбра молчал.

- У-у, змея подколодная, вишь, молчит, пришипился! – продолжал Хнум и, вдруг наклонившись еще ниже, заглянул ему в лицо: – Что я тебе сделал? Что я тебе сделал? За что ты на меня злобствуешь?

Если бы Юбра ответил прямо: «За то, что Маиту отнял», – может быть, гнев Хнума погас бы сразу: сердце восстало бы на него и обличило бы, как на Страшном суде. Но Юбра ответил лукаво:

- Я зла на тебя не имею...

И прибавил так тихо, что никто не слышал, кроме Хнума:

- Бог нас с тобой рассудит!

– Да ты что? Что у тебя на уме? – начал Хнум и не кончил; опустил глаза перед рабом – понял, что не так-то легко вынуть мертвую муху из благовонной масти мироварника.

– Ах ты, пес смердящий! – завопил он, уже не помня себя от бешенства: печень кинулась в голову. – Зла на меня не имеешь, а кто донес, кто донес царским сыщикам, что два Амонова лика у меня в гробнице не замазаны? Говори, кто?

– Я не доносил, а если бы и донес, вины моей бы не было: царь велел истреблять Амоновы лики, – ответил Юбра, как показалось Хнуму, уже с наглым вызовом.

– Так вот ты как, сукин сын, грозить мне вздумал? Ну, погоди ж, я тебя!

Поднял палку. Она была толстая, из крепкого, как железо, акацийного дерева: если бы опустил ее на голову Юбры, мог бы его убить. Но Бог спас обоих. Глаза их встретились, и точно Маита глянула на Хнума.

Медленно опустил он палку мимо головы Юбры, зашатался, упал в кресло, закрыл лицо руками и долго сидел так, не двигаясь. Потом отнял их от лица и, не глядя на Юбру, сказал:

– Вон! Чтоб духу твоего здесь не было. Ты мне больше не раб. Развяжите ему руки, пусть идет, и никто не смей его тронуть. Я его простил.

– Может быть, я и ошиблась, – говорила Дио Пентауру, проходя с ним через сад на канал, к Тутиной лодке. – Может быть, вы, египтяне, бунтовать умеете...

– По Юбре судишь? – спросил Пентаур.

– Да. Много у вас таких?

– Много.

– Ну, так не миновать бунта... А как странно, Таур: только что мы с тобой спорили, был Сын или будет, и вот здесь то же...

– То же везде, – ответил Пентаур.

– Из-за этого и бунт? – спросила Дио.

– Из-за этого. А ты рада?

Дио ничего не ответила, как будто задумалась. Пентаур тоже помолчал, подумал и сказал:

– Может быть, из-за этого мир погибнет...

– Пусть, – ответила она, и ему показалось, что огонь бунта уже горит в ее

IV

Лодку подали к воротам Хнумова сада, выходившим прямо на Большой канал, которым южная часть города соединилась с северной – Апет-Ойзитом, где находился Престол Мира – Амонов храм.

Дио, узнав, что Тута отложил свидание с нею на несколько часов, решила провести с Пентауром эти, может быть, последние часы: все еще не знала наверное, едет ли завтра. Хотела также проститься с Амоновым храмом: полюбила этот величайший и прекраснейший в мире дом Господень за то, что через него вошла в Египет.

Над необозримым множеством сереньких, низеньких, плоских, точно приплюснутых, слепленных из глины, домиков – ласточкиных гнезд, возвышались, окруженные стенами, три исполинских святилища – Амана, Хонзу и Мут – Отца, Сына и Матери. Тут же, внутри стен, были рощи, сады, пруды, скотные дворы, погреба, житницы, пивоварни, мироварни и прочие службы – целый город в городе – Град Божий в Граде человеческом.

С новым царствованием все это запустело: святые ограды были разрушены, сокровищницы разграблены, святилища заперты, жрецы разогнаны и боги поруганы.

Доехав по каналу до священной дороги Овнов, Дио села с кормилицей Зенрой в носилки, а Пентаур пошел рядом.

Завернув направо, на боковую дорогу, к святилищу Мут, вошли в ограду его, через северный вход.

Здесь лунным серпом серебрилось священное озеро бога Хонзу – Озириса Лунного. Розовый гранит обелисков, черный базальт колossов, желтый песчаник пилонов, зеленые верхушки пальм – все, облитое червонным, уже вечереющим золотом солнца, опрокинулось в воде, как в зеркале, с такою четкостью, что видны были каждое перышко в радужных крыльях Соколов – Солнц на челе пилонов и каждый иероглиф в многоцветной, по желтому песчанику, росписи – россыпи драгоценных камней по золоту: как будто там, внизу, был тот мир, обратно подобный этому, – совсем такой же и совсем другой.

В ямах, вырытых на берегу озера, должно быть, нарочно, чтобы осквернить святые воды, добывали кирпичную глину. Озеро здесь обмелело, тинистое дно обнажилось, и загнивавшая в лужах вода отливалась радугой. Тут же повалено было лицом в грязь исполинское, из темно-красного песчаника, изваяние бога Амана, и распряженный буйвол, стоя по колено в воде, чесал облепленный грязью, косматый бок об острый конец одного из двух перьев в божеской тиаре, и от него смердело свинятыником.

Рядом с ямами было незапамятно-древнее святилище двух богинь Матерей – Лягушки-Гекит и Туарт-Гиппопотамихи.

При начале мира выползла из первичного ила божественная Лягушка, Повивальная Бабка, и тотчас начала помогать всем родильницам; помогла и рождению Хонзу-Озириса, сына божьего; помогает и каждому умершему воскреснуть – родиться в вечную жизнь. Так же скоропомощна в родах и Туарт-Гиппопотамиха.

Медные двери святилища были заперты и запечатаны; но в притворе, в двух сводчатых впадинах стен, за драными завесами, скрывались от царских сыщиков обе богини. Огромная, из зеленої яшмы, Лягушка, с круглыми, желтыми стеклянными глазами, добрыми и умными, сидела на своем престолике-кубике. А Гиппопотамиха, из темно-серого обсидиана, в женском парике, с тупым рылом свинухи, со свирепым оскалом зубов, отвислыми сосцами и толстым брюхом беременной женщины, стояла на задних лапах и держала в передних – знак вечной жизни – Крестный Узел.

Двенадцатилетняя беременная девочка, эфиоплянка, обвив шею богини вязью лотосов, упала перед нею на колени и горячо, с детскими слезами, молилась о благополучном разрешении от бремени.

Зенра хотела принести двух горлинок в жертву богиням Матерям за Дио, вечную

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
деву, не-мать, чтобы, наконец, сделалась матерью.

Вошли в притвор. Здесь старушка-жрица, немного похожая лицом на свою богиню Лягушку, купала в медном чане с теплой водой двух священных ихневмонов, водяных зверьков, полукошечек, полукрыс, любезных богу наводнений, Хнуму-Ра. После купанья они разбежались, играя: самец погнался за самочкой.

– Пю-пю-пю! – подозвала их жрица тихим чмоканьем и начала кормить из рук размоченной в молоке хлебной мякотью, бормоча молитву о благом разлитии вод.

Потом, сойдя к озеру, закликала:

– Соб! Соб! Соб!

На другом конце озера забурлила вода, и, высунув из нее глянцевито-черную, как тина, голову, быстро поплыл на зов огромный, локтей в восемь длины, крокодил, зверь бога Собека, Полночного Солнца. На передних лапах его блестели медные, с бубенчиками, кольца, в ушах – серьги, а в толстую кожу черепа вставлено было, вместо похищенного рубина, красное стеклышко. Он был такой ручной, что давал себе чистить зубы акацийным углем.

Выполз из воды на лестницу и растянулся у ног жрицы. Сидя на корточках, она кормила его мясом и медовыми лепешками, принесенными Зенрой, бесстрашно всовывая в разинутую пасть зверя левую руку; от кисти правой оставался только обрубок: ее отгрыз крокодил, когда она была еще девочкой.

– Лучше бы он тогда всю меня съел, – говорила старушка, – не видали бы глаза мои того, что нынче творится...

Не договаривала: «При царе-богоотступнике».

Быть пожранным священным крокодилом почиталось блаженным концом: ни умащать, ни хоронить не надо – прямо из святого чрева в рай.

С материинской нежностью гладила старушка зверя по жестким черепьям спины и называла «Собенькой», «дитяткой», «батюшкой». И чудно было видеть, как свиные глазки чудовища светились ответной лаской.

– Ну что, как тебе понравилась наша крокодилья матушка? – спросил Пентаур дио, улыбаясь, когда они вышли из притвора, оставив в нем Зенру и отправив носилки вперед.

– Очень понравилась, – ответила дио, тоже улыбаясь.

– Смеешься?

– Нет. Ваша Мут и наша Ма – одна Небесная Матерь, благословляющая всю земную тварь.

– А как же ты?.. – начал он и не кончил. Но она поняла: «Как же ты убила бога Зверя?»

– По нашей тайной мудрости, – заговорил он, спеша, чтобы скрыть ее и свое смущение, – ближе человека к Богу зверь, ближе зверя злак, ближе злака перстъ, Мать Земля; и глыба раскаленной персти – солнце, сердце мира – Бог.

– А он этого не знает? – спросила дио.

– Не знает, – ответил Пентаур, поняв, что она говорит о царе Ахенатоне. – Если бы знал, не ругался бы над Матерью...

«А может быть, и я, вечная дева, не-мать, тоже чего-то не знаю», – подумала дио.

Шли от святилища Мут к храму Амона по священной дороге Овнов, исполинских, изваянных из черного гранита, установленных в ряд по обеим сторонам дороги. У каждого на темени, между завитыми книзу рогами, был солнечный диск Амона-Ра, а между поджатыми передними ногами – маленькая, точно детская, мумийка покойного царя Аменхотепа, отца Ахенатонова: бог-зверь обнимал умершего, как будто нес его в вечную жизнь.

Все они, казалось Дио, смотрели на нее так, как будто хотели сказать: «Богоубийца».

Подошли к пилону – огромным, отдельно от храма стоящим вратам, подобью усеченной пирамиды, с радужно-пернатым шаром солнца на челе и высокими для флагов мачтами. По обеим сторонам пилона два гранитных великаны, совершенно одинаковых, изображали царя Тутмоза Третьего, Ахенатонова прпрадеда, первого всемирного завоевателя.

В божеских тиарах сидели они на престолах, сложа руки на коленях, в вечном покое, с вечной улыбкой на плоских губах. А над ними ветхие флаги сломанных мачт трепались жалкими отрепьями. Птицы, свившие гнезда в тиарах, громко кричали, точно смеялись, и стекал по черным ликам белыми струями птичий помет.

Пентаур прочел вслух иероглифную надпись пилона – речь бога к царю:

– «Радуйся, сын мой, почтивший меня. Я отдаю тебе землю в долготу и в широту. С радостным сердцем пройди ее всю победителем».

И ответ царя богу:

– «Я вознес Египет во главу народов, ибо вместе со мной почтил он тебя, бога Амона Всевышнего».

По тому, как читал Пентаур, Дио поняла, что он сравнивает великого прадеда с ничтожным правнуком.

Пройдя через пилон и оставив налево дорогу к святилищу Хонзу, вышли на площадь. Здесь люди всякого звания, от рабов и нищих до знатных господ, стояли молча, отдельными кучками, как будто ожидали чего-то, и, когда проходила дозором городская стража, поглядывали на нее издали, угрюмо. Все было тихо, но Дио вдруг вспомнила: «Бунт!»

Кто-то подошел к Пентауру сзади, крадучись. По шерстяному, полосатому ханаанскому плащу сверх египетской белой одежды-рубахи, по рыжим, длинным, висевшим вдоль щек кудрям, рыжей козлиной бороде, оттопыренным ушам, крючковатому носу, толстым губам и слишком горячему блеску глаз Дио сразу узнала израильтянина – по-египетски, Иада – Пархатого. К слову этому так привыкли, что оно перестало быть бранным.

Пентаур что-то шепнул ему на ухо; тот молча кивнул головой, взглянул на Дио и скрылся в толпе.

- Кто это? – спросила Дио.
- Иссахар, сын Хамуила, младший жрец Амона.
- Как же Иад, Пархатый, – жрец?

Дио знала, что все египетские жрецы бреют головы.

- Прячется от царских сыщиков, – ответил Пентаур.
- О чем ты с ним говорил?
- О твоем свидании с Птамозом.

Подошли к западным вратам Амона храма, горевшим на солнце, как жар, листовым червонным золотом, с иероглифами из темной бронзы – тремя словами: «Амон, Великий Дух». Слово «Амон» было стерто, но в двух оставшихся была тем большая хвала Неизреченному.

Стража стояла у запертых и запечатанных врат. Тут же люди, падая ниц, целовали пыль священных плит и молились шепотом: за произнесенное громко

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
имя Амона хватали и сажали в тюрьму.

Дио показала страженачальному перстень с печатью Тутанкатона, и он пропустил ее с Пентауром в боковую дверцу врат.

Вошли во внутренний двор с рядами таких исполинских столпов – связанных стеблей папируса, что трудно было поверить, что это – создание человеческих рук; сам Великий Дух, казалось, взгромоздил эти вечные камни в немую хвалу себе, Неизреченному.

Со двора вступили в крытые сени, где дневной свет падал скучно из узких окон под самым потолком. На дворе было солнечно, а здесь уже сумерки, и еще огромнее казался в них дремучий лес столпов, пропахший насквозь древним ладаном, как настоящий лес смолою. Было тихо, тоже как в лесу; только где-то в вышине раздавались слабые звуки; похоже было на то, что дятлы стучат по деревьям: «стук-стук-стук» – тишина, и опять: «стук-стук-стук».

Дио подняла глаза и увидела: каменщики в люльках на длинных веревках, как паучки на паутинках, рея в вышине, у стен и столпов, стукали по ним молотками.

– Что они делают? – спросила она.

– Истребляют Амоново имя, – ответил Пентаур, усмехаясь.

Усмехнулась и Дио; глупым показался ей этот слабый стук: как истребить имя Неизреченного?

По мере того как шли они, углубляясь во внутренность храма, стены стеснялись, потолки нависали все темнее, грознее, таинственнее, и, наконец, обнял их почти совершенный мрак; только где-то вдали тускло теплилась лампада. Здесь было Святое Святых – Сехэм, – вырубленная в цельной глыбе красного гранита скиния, где некогда скрывалось за льняными завесами, парусами священной ладьи, маленько, в локоть, золотое изваяньице бога Амона. Теперь Сехэм был пуст.

Узкий, как щель, проход вел из Сехэма в другую скинию, где в прежние дни возлежал на ложе из пурпурра, в вечном дыму благовоний великий Амонов Овен, божественное Животное, – живое сердце храма. Но теперь и эта скиния была пуста; говорили, будто в нее брошены кости мертвого пса, чтобы осквернить святыню.

– А он и Божьего мрака не знает? – спросила Дио.

– Не знает, – ответил Пентаур, опять поняв, что «он» – царь. – Знает, что Бог – свет, а что свет и мрак вместе, не знает.

Пентаур стал на колени, и Дио – рядом с ним; он начал молиться, и она повторяла за ним:

Слава Тебе, во мраке живущий,
Амон – Сокровенный,
Владыка безмолвных,
Заступник смиренных,
Спаситель низверженных в ад!
Когда вопиют они: «Господи!» –
Ты приходишь к ним издали
И говоришь: «Я здесь!»
Пали ниц, и волосы на голове у Дио зашевелились от ужаса:

«Он здесь!»

Вышли из храма через восточные врата, где ожидали носилки. Сели в них и поехали в только что построенный царем Ахенатоном маленький храм Гэм-Атон, Сияние Солнца.

Тысячу лет строился храм Амона из огромных каменных глыб – целых скал, а этот – из камешков, наскоро; тот весь был сокровенный, уходящий во мрак, а этот – открытый, солнечный. Никаких божеских ликов не было в нем, кроме Атонова диска с простертymi вниз лучами-руками.

Вошли в один из притворов, где плоское на стене изваяние изображало царя Ахенатона, приносящего жертву богу Солнца.

Дио взглянула на него и осталась удивлена. Кто это? Что это? Человек? Нет, иное, неземное существо в человеческом образе. Ни мужчины, ни женщины; ни старик, ни дитя; скопец-скопчиха, дряхлый выкидыш. Страшно исхудалые ноги и руки, как ножные и ручные кости костяка; узкие, детские плечики, а бедра широкие, пухлые; впалая, с пухлыми, точно женскими, сосцами грудь; вздутый, точно беременный, живот; голова огромная, с тыквоподобным черепом, тяжело склоненная на шейке, тонкой, длинной и гнувшейся, как стебель цветка; срезанный лоб, отвислый подбородок, остановившийся взор и блуждающая на губах усмешка сумасшедшего.

Дио, взглядываясь в это лицо, все хотела что-то вспомнить и не могла. Вдруг вспомнила.

В загородном, близ Фив, Чарукском дворце, где родился и провел детство Ахенатон, видела она изваянную голову его: мальчик, похожий на девочку; круглое, как яичко, лицо, с детскими-девичьими прелестями, тихое-тихое, как у бога, чье имя: «Тихое Сердце».

Снится иногда человеку райский сон, как будто душа его возвращается на свою небесную родину, и долго, проснувшись, он не верит, что это был только сон, и все томится, грустит. Такая грусть была в этом лице. Длинные ресницы опущенных глаз, как бы сном отяжелевших, век казались влажными от слез, а на губах была улыбка — след рая — небесная радость сквозь земную грусть, как солнце сквозь облака.

«Неужели эти два лица одно?» — думала Дио. Точно в бреду, прекрасное лицо искалось, становилось дряхлым страшилищем, и страшнее всего было то, что сквозь новое сквозило прежнее.

— Ну что, не узнаешь? — шептал ей Пентаур; ужас был в шепоте его и смех — торжество над врагом. — Да, трудно узнать. А ведь это он, он сам, Радость-Солнца, Ахенатон!

— Как смели так надругаться над ним! — воскликнула Дио.

— Кто посмел бы, если бы сам не хотел? Сам учит художников не лгать, не льстить. «В-правде-живущий». Анк-эм-маат, назвал себя сам, — и вот в чем правда; не захотел быть человеком, — и вот чем стал!

— Нет, не то, не то, — произнес чей-то голос за спиной Дио. Она оглянулась и увидела Иссахара, сына Хамуилова.

— Нет, не то. Злее, хитрее обман! — говорил он, глядя в лицо изваяния.

— Какой обман? — спросила Дио.

— А вот какой, слушай пророчество: «Сколь многие ужасались, глядя на Него; так обезображен был лик Его, больше всякого человека, и вид Его — больше сынов человеческих. И мы отвращали от Него лицо свое. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Казнь мира нашего была на Нем, и ранами Его мы исцелились». Знаешь, о Кем это сказано?.. А этот кто? Проклят, проклят, проклят обманщик, сказавший: «Я — Сын».

Медленно, как будто с усилием, отвел он глаза от лица изваяния, взглянул на Дио, наклонился и шепнул ей на ухо:

— Первосвященник Амона ждет тебя сегодня в третьем часу по заходе солнца.

И, накинув плащ на голову, вышел из храма.

Долго стояла Дио в оцепенении. Задумалась так, что не слышала, как Пентаур дважды окликнул ее, а когда он тихонько прикоснулся к руке ее, вздрогнула.

— Что ты? О чём думаешь? — спросил он.

— Так, сама не знаю, — ответила она со смущенной, как будто виноватой, улыбкой и, помолчав, прибавила:

– Может быть, все мы не знаем о нем чего-то самого главного...

И, еще помолчав, воскликнула с такою мукою, казалось Пентауру, с какою умирающий от жажды просит пить:

– О, если бы знать, кто он, кто он, кто он!

V

Тутанкатон-Тута пустил о себе слух, будто он сын царя Аменхотепа IV, Ахенатона отца. Тутина мать, Меритра, была царскою наложницей, из однодневных, каких у царя было множество. Но злые языки уверяли, что Тута сын не царя, а царского тезки, Аменхотепа, начальника Межевого приказа. Благодаря матери маленький Тута получил сан царевичева сверстника и быстро пошел в гору: царский постельничий, главный опахалоносец одесную благого бога-царя, казначей царского дома, хлебодар Обеих Земель, великий ревнитель ученья Атонова и, наконец, царский зять, супруг Анкзембатоны, двенадцатилетней царской дочери.

Никто не умел так набожно, как он, закатывать глаза и шептать таким елейным шепотом:

– О, сколь спасительно учение твое, Уаэнра, Сын Солнца Единородный!

И сочинять таких благочестивых гробничных надписей.

«Рано вставал каждое утро Сын Солнца, Ахенатон, дабы просвещать меня светом своим, ибо я был ревностен в исполнении слова его», – сказано было в одной из этих надписей. И в другой:

«Тебе последовал я, Боже, Атон-Ахенатон!»

Это отожествление царя с богом казалось нелепым и кощунственным, потому что всем было известно, что Атон – Отец, а царь – Сын. Но когда узнали, что в этих словах выражено тайное учение царя о совершенном единстве Отца и Сына, то все ахнули, дивясь Тутиной хитрости.

Царедворцы старались наперерыв похулить старого бога Амона. Но Тута и в этом превзошел всех: заказал себе плетенные из золотых ремешков лапотки с Амоновым лицом на подошвах, чтобы с каждым шагом попирать окаянного. И все опять ахнули – поняли, что он далеко уйдет в этих лапотках.

В Нут-Амок, Фивы, послан был Тута в сане царского наместника, для исполненья двух указов: об отнять у жрецов гробничных земель и о поругании бога Хонзу, Амона Сына.

Когда Дио вошла в Белый Дом наместника, знакомый старичик-служитель встретил ее низкими поклонами и хотел доложить о ней его высочеству. Но, узнав, что Тута ужинает с начальником ливийских наемников, Менхеперра, человеком ей неприятным, она сказала, что подождет, прошла во внутренний покой и легла на низкое дневное ложе. Глядя, как вечернее солнце сквозь узкие и длинные окна-щели под самым потолком откидывает на белизну его косые розовые четырехугольники, опять глубоко задумалась, как давеча, в притворе Гэм-Атона: «ехать – не ехать?»

Устала думать, задремала. Две большие мухи жужжали у нее над самым ухом, точно спорили: «ехать – не ехать?»

Вдруг очнулась и поняла, что это не мухи жужжат, а кто-то шепчется очень близко, над самым ухом ее. Оглянулась – никого. Шептались в соседнем покое, за решетчатой стенкой, завешенной ковром; египетские горницы разделялись иногда для прохлады такими стенками. Двое шептавшихся сидели, должно быть, на полу, на циновках, рядом с ложем, на котором лежала Дио.

– Эх, изжога проклятая, – слышался один из двух шепотов, почтенный, старческий.

– Это от гусиной печени, тятенка, – ответил другой, тоненький, почтительный. – Хочешь телеку? Лучше нет, как телек, для желудка; с лимонцем-кардамонцем, освежительно!

- Пей и ты, Воробей!
- За твое здоровье, тятечка.
- Что ты меня тятечкой зовешь?
- Из почтенья: благодетель – все равно что отец!
- Это хорошо, что ты стариков почитаешь. А Воробьем тебя за что прозвали?
- За то, что из всякого дельца клюю по зернышку, как из навозной кучки воробушек.
- Полно, брат, не прибедняйся: хапнул, небось, намедни от кладбищенских воров человека со свинкою.

Дио вспомнила, что человек, держащий за хвост свинью – иероглиф лапис-лазури, любимой взятки египетских чиновников, – Хез-бэт: хез – «держать», бэт – «свинья»; и что кладбищенские воры недавно ограбили могилу древнего царя Зеенкеры.

- Ну так вот, я и говорю: глуп Ахмес, сын Абана, ждать добра от него нечего, – продолжал старческий шепот. – Глупого в ступе толки вместе с зерном – не отделятся от него глупость его, и лучше встретить лютую медведицу в поле, чем глупого в доме.
 - Чем же он так глуп, тятечка?
 - А тем, что носа по ветру держать не умеет. Неспокойно в городе, а тут еще ливийские наемники, жалованья полгода не получавши, бунтуют. А он, дурак, бунта боится пуще всего. Вот и обрадовался, как пришло намедни из царской казны жалованье; тотчас велел отправить для раздачи. Ну, а я, не будь глуп, ничего ему не сказавши, отправку задержал и донес о том его высочеству, государю наместнику. И что ж бы ты думал? Благодарить изволили, назвали умницей, потрепали по щеке и взять к себе на службу обещали. Ловко?
 - Ловко, тятечка! У кого учиться, как не у тебя?.. Ну, а если и вправду начнется бунт, – беда?
 - Кому беда, а кому польза. Глупый в огне горит, а умный на нем руки греет...
- Шепот сделался так тих, что Дио перестала слышать. А потом опять громче:
- Не может, не может этого быть, тятечка! У кого на такое дело рука подымется?
 - Иссахара, сына Хамуилова, знаешь?
 - Да ведь он трус, куда ему, Иаду – Пархатому!
 - Трус, да бешеный. Все они таковы, Иады: трусы, а как до ихнего Бога дело дойдет, лезут на стену... Да тут и не он один: он только нож в руке, а рука за ним сильная. Скоро, брат, такие начнутся дела, что в обоих ушах зазвенит!
 - Ох, тятечка, страшно...
 - А ты не робей, Воробей, – будешь соколом!

Дио слушала, и сердце у нее билось так, что казалось, услышат за стенкой. Понимала, что где-то очень близко готовится злое и подлое дело против царя, – и сама она в нем как будто участвует; не оттого ли и мучается так: «ехать – не ехать?»

Вдруг из соседнего покоя, не того, где шептались, а другого, послышались шаги. Обе половинки дверей распахнулись, и тихо-тихо, как тень, вошла в них огромная, черная охотничья кошка, полупантера, а за нею, как будто ее почетные спутники, – скороходы, опахалоносцы, телохранители; и, наконец, ступая босыми ногами – обувь снималась в домах, – так же тихо, как кошка, вошел молодой человек небольшого роста, легкий, ловкий, стройный, с обыкновенно-приятным лицом, в простой белой одежде, в черном, гладком

парике, в широком, до половины груди, ожерелье, с длинным, в руке позолоченным деревянным посохом, увенчанным золотым изваяньюцем богини Маат – Истины. Это был настоящий или мнимый сын царя Аменхотепа, царский зять, наместник фив, Тутанкатон.

Подойдя к резному, из слоновой кости и черного дерева, креслу, стоявшему посередине комнаты, на низком помосте, между четырех столбиков, он сел на него. Дио подошла к нему и стала на колени. Он поцеловал ее в лоб и сказал:

– Радуйся, дочь моя! Милость бога Атона да будет с тобою! Ступайте все, – прибавил, обернувшись к спутникам.

Когда все вышли, он встал, подошел к ложу, сел на него с ногами, взглянул на Дио и молча указал ей на место рядом с собою, но сделал это не очень заметно, а как бы надвое: захочет – увидит, не захочет – нет. Не увидела – села против него, на складной ременчатый стул.

Кошка подошла к ней и начала тереться об ее ноги, тыкаясь мордой в колени и слишком громко, не по-кошачьи, мурлыкая. Дио не любила кошек, а этой особенно: ей казалось, что это огромная, черная, скользкая гадина. С Тутой никогда не разлучалась она: всюду ходила за ним, как тень.

– Что ты тут одна сидишь? Отчего доложить не велела? – спросил он голосом тихим и ласковым, похожим на кошачье мурлыканье.

– У тебя был гость.

– Твой же поклонник, Менхеперра. Оттого и не вошла?

– Оттого.

– Ах, дикая... Поди сюда, Руру! – позвал он кошку. – Надоела тебе?

– Нет, ничего, – сказала Дио из учтивости: охотно бы оттолкнула слишком ласковую гадину.

– Удивительно! – заговорил он, улыбаясь и глядя на нее тем особенным мужским взором, который был ей противен: «Точно пауки по голому телу ползают», – говорила она об этих взорах. – К тебе нельзя привыкнуть, Дио: каждый раз, как видишь тебя, удивляешься, что так хороша... Ну, прости, не буду, знаю, что ты этого не любишь!

Кошка подняла морду и заглянула ей прямо в глаза огненными зрачками. Дио оттолкнула ее тихонько ногою: страшно было, что вскочит на колени.

– Ах, несносная! – рассмеялся Тута, схватил ее за ошейник, втащил на ложе, уложил и нахлопал: спи!

– Ну, так как же? Едешь? – начал он уже другим, деловым голосом. – Стой, погоди, сразу не отвечай. Я тебя не тороплю; только подумай, что ты тут делаешь, чего ждешь? Учишься плясать по-нашему? Зачем? Пляши по-своему – еще больше понравится. У нас теперь чужое лучше своего...

– Я решила...

– Стой, погоди, дай кончить. Я уеду, останешься одна, а время нынче такое – не знаешь, что будет завтра...

– Да еду же, еду!

– Ну-у? Правда? Ой, опять обманешь?

– Нет, теперь уж сама хочу поскорей.

– Отчего же так вдруг захотела?

Она ничего не ответила и спросила:

– Завтра едешь? наверное?

– Завтра. А что?

– В городе, говорят, неспокойно.

– Пустяки. К завтрему все кончится. Ну, конечно, город большой, дураков много; может быть, и пойдут умирать за своего болванчика. Тогда, делать нечего, не обойдется без крови...

Дио поняла, что «болванчик» – кумир бога Хонзу.

– А царь об этом знает? – спросила она.

– О чем?

– Что, может быть, без крови не обойдется?

– Нет, не знает. Зачем ему знать? Отменит указ? Этот отменит – другие останутся. Да и как быть? Крови не проливши, дураков не научишь!

Он вдруг привстал на ложе, опустил ноги на пол, придинулся к ней, взял ее за руку и чуть-чуть усмехнулся, как будто подмигнул глазком, опять надвое: захочет – увидит, не захочет – нет.

– А что, Дио, давно я хотел тебя спросить, за что ты меня невзлюбила. Я тебе всегда был другом. Таммузадад спас тебя, но ведь и я кое-что сделал...

Дио вздрогнула и отняла руку. Он это заметил, но виду не подал и продолжал усмехаться, ожидая ответа.

– Отчего ты думаешь?.. – начала она и не кончила, опустила глаза, покраснела. Чувствовала себя, как всегда наедине с ним, связанной, неловкой, точно виноватой в чем-то и застигнутой врасплох.

– Зачем я тебе нужна? – спросила внезапно, почти грубо.

– Ну вот, совсем как Руру: я к тебе с лаской, а ты меня ножкой! – рассмеялся он добродушно-весело. – Зачем нужна? Женская прелест – великая власть...

– Через меня хочешь власть получить?

– Не через тебя, а с тобой! – проговорил он тихо и восторженно, глядя ей прямо в глаза.

– И для него ты мне нужна, – продолжал, помолчав. – С ним очень трудно; ты мне поможешь: любишь его, я тоже, – вместе будем любить...

Она поняла, что он говорит о царе Ахенатоне, и сердце у нее забилось так же, как от давешнего шепота за стенкою. Чувствовала, что надо что-то сказать, сделать, но оцепенение бреда нашло на нее, как тихая чара: хотела и не могла оттолкнуть слишком ласковую гадину.

– Все еще не была у Птамоза? – вдруг спросил он так, как будто они часто говорили об этом; но никогда ни слова о Птамозе между ними не было сказано. Опять настиг ее врасплох, уличил, как маленьку девочку в шалости.

– У какого Птамоза? – притворилась она непонимающей, но так неискусно, что самой сделалось стыдно.

– Ну, полно! – проговорил он и опять усмехнулся, как будто подмигнул ей глазком. – Не донесу, не бойся, никто не узнает. А если бы и узнали, что за важность? Я бы и сам послал тебя к нему. Вещий старик, умница. Все тебе скажет: узнаешь, из-за чего война. Только болтуны да льстецы придворные думают, что мы уже победили. Нет, веру отцов не так легко победить. Старики не глупее нашего были. Амон – Атон, из-за одной ли буквы спор? Нет, из-за духа. Воистину Амон – Великий дух!

Переходя давеча с кресла на ложе, он захватил с собою посох с парой подвязанных к нему на ремешках золотых лапоток. Вдруг Дио наклонилась, взяла один из них, повернула подошвой вверх и указала пальцем на Амонов лицо.

– А это у тебя что, государь-царевич? «Амон – Великий дух»? – спросила, усмехаясь с таким презрением, уже почти нескрываемым, как будто, в самом деле, говорила с гадиной.

– А-а, поймала! – рассмеялся он опять добродушно. – Ах, Дио, Дио, жрица Великой Матери, ты все еще на своей Горе живешь – к нам, бедным людям, на землю не сходишь! А ведь сойдешь когда-нибудь, запачкаешь ножки в грязи, изранишь о камни – и рада будешь вот и таким лапоткам. Надо быть милосердным к людям, мой друг. Сам будь трезв и постен, а с обжорой ешь, с пьяницей пей. Ну, а Великий дух, надеюсь, меня простит: ничего ему от лапоток моих не станется!

Долго еще говорил о тайной мудрости избранных и о безумье толпы, о величии царя Ахенатона и его одиночестве – «тоже с горы не сходит», – об их будущем тройном союзе и о том, как он, Тута, поможет им обоим «сойти с горы».

Дио слушала, и опять находила на нее тихая чара – ни очнуться, ни крикнуть.

«Нет, он не глуп, – думала она. – Или глуп и умен, груб и тонок вместе. Очень силен – не он, а тот, кто за ним». «Он только нож в руке, а рука за ним сильная. Говорит со мной, как с маленькой, да и с царем, должно быть, так же; а может быть, и прав: мы – дети, он – взрослый; мы „не совсем люди“, а он – совсем человек. Весь для мира, и весь мир для него. Ну, как же такому не царствовать? Будешь, будешь, кот, мышиным царем!»

Послышался стук в дверь.

– Войди, – сказал Тута.

Сотник дворцовой стражи вошел и, преклонив колена, подал Туте письмо. Он распечатал, прочел и сказал:

– Колесничу!

А когда сотник вышел – встал, молча прошелся по комнате, сел в кресло, облокотился, опустил голову на руки и тяжело вздохнул:

– Ах, дураки, дураки! Так я и знал, что без крови не обойдется...

– Бунт? – спросила Дио.

– Да, в Заречье уже началось. Кажется, ливийские наемники пристали к бунтовщикам.

Грустно было лицо его, но радость сияла сквозь грусть. Дио поняла: бунт – начало, а конец – престол.

Встал, вернулся к ложу, взял посох, отвязал от него лапотки, надел их и сказал:

– Ну, делать нечего, пойдем усмирять бунт!

VI

«Будет великий бунт, и перевернется земля вверх дном, как вертится гончарный круг горшечника», – вспоминая эти слова Ипувера, пророка древних дней, Юбра жадно ждал исполнения пророчества. «Как бы без меня не началось!» – думал он, сидя в яме. А когда Хнум выгнал его из дома – взял в руку посох, закинул котомку за спину и побрел, куда глаза глядят, с таким видом, как будто весь век был бездомным бродягой.

Вспомнив старого приятеля, лодочника Небру, решил повидаться с ним и пошел на Ризитскую пристань. Но на пристани узнал, что тот, кончив работу, вечеряет в соседней харчевне, на Хеттейской площади.

Юбра устал; ноги у него болели от только что снятых колодок. Присел отдохнуть на кучу сваленных кулей на набережной.

Солнце заходило за голые, желтые скалы Ливийских гор, источенные устьями гробов, как пчелиные соты. Внизу, на поэмных лугах Заречья, и дальше, над Городом Мертвых, где вечно кипели котлы умастителей и черными клубами

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
клубился асфальтовый дым, была уже тень; только у храма – усыпальницы Аменхотеповой, в конце священной дороги Шакалов, два обелиска тускло рдели золотыми остриями, как потушенные свечи – тлеющими светильнями.

Левый берег был в тени, а правый все еще в солнце, и медно-красными казались в нем смуглые, голые грузчики, таскающие с лодок, по сходням, глиняные куфы и кули с благовоиньами – галаадским бальзамом и стираксом, аравийским сандалом и миррою, пунтийским фимиамом и корицею – куреньями богов и умащеньями мертвых. Пристань вся пропахла ими; но и сквозь них слышался смрад выброшенной рекой и валявшейся тут же, на берегу, падали. Ее пожирала тощая, с выступавшими ребрами, сука.

Вдруг два белых орла с хищным клекотом и шумным хлопаньем крыльев слетели на падаль. Спугнутая сука отскочила и смотрела на них издали, поджав хвост, злобно ощерившись, визжа и дрожа от голодной зависти.

Но еще большая зависть горела в глазах исхудалой нищенки, пришедшей за хлебом из удела Черной Телицы, где люди пожирали друг друга от голода. Страшно-отвислый, сморченный, почерневший, точно обугленный, сосец закинула она к сидевшему у нее за спиной, в плетеном кузовке, грудному ребеночку. Яростно кусал и жевал он его беззубыми деснами, но не мог высосать ни капли молока и уже не плакал, а только тихо стонал.

– Хлебца, миленький! Три дня не евши, – просто нала нищенка так же тихо, как ребеночек, подойдя к юбре и протянув к нему руки.

– Нет у меня ничего, бедная, прости, – ответил он и подумал: «Скоро голодные будут сыты!»

Встал и пошел. Пошла и она за ним издали, как приблудная собака идет за прохожим с добрым лицом.

Рядом с ними, по насыпной, углаженной для тяжести дороге от пристани к городу, около полутора тысячи военнопленных рабов и осужденных преступников тащили за четыре толстых каната, на огромных полозьях, роде саней, исполинское, гранитное, только что сплавленное по реке изваяние царя Ахенатона. Работонаачальник, старичок с умным и строгим лицом, стоя на коленях исполнена, сидевшего на престоле, казался перед ним карликом; то похлопывал он в ладоши, отбивая лад песни, затянутой рабочими, то покрикивал на них и помахивал палочкой, управляя всем этим человеческим множеством, как пахарь – упряжкой волов. А впереди человек поливал дорогу водою из лейки, чтобы полозья саней не воспламенились от треня.

Туго, как струна, натянутый канат резал людям плечи и сквозь войлоковые валики; пот катился градом с низко опущенных лиц; мышцы пружились; жилы, точно готовые лопнуть, вздувались на лбах; кости, казалось, трещали от неимоверного усилия. А исполин, в вечном покое, с кроткой улыбкой на плоских губах, как будто не двигался, только чуть вздрагивал. И вместе с хриплым дыханием вырывалась из тысячи грудей, как стон, заунывная песнь:

Ой, тяни-тяни, потягивай!
Ой, шагай-шагай, пошагивай,
Как потянем на вершок,
Будет пива нам горшок,
Будет хлеба каравай.
Налегай, налегай!
Ну-ка, братцы, в добрый нас,
В один раз,
В один дух, –
Ух!

«Тоже и этим недолго терпеть: освободятся рабы!» – подумал юбра.

С насыпной дороги свернул он в Тешубову улицу. Выходцы Хеттейской земли, поклонники бога Тешуба, – лодочники, плотники, столяры, конопатчики и другие мастеровые, а также лавочники и харчевники, населяли эту часть фив, у Апет-Ризитской пристани.

Темно-серые, как осиные гнезда, мазанки, кое-как слепленные из речного ила с камышом, были так непрочны, что разваливались от хорошего дождя. Но дожди были редки, в два-три года раз; да и выстроить такой домик заново почти ничего не стоило. А жили в них не только бедные, но и среднего достатка

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
люди, по египетской мудрости: временный дом – хижина, вечный дом – гроб.

Уличные стены без окон: все окна во двор; только на входной двери – оконце, с подъемной, для привратника, ставенькой; тут же – пестрыми иероглифами написанное имя домохозяина. На плоских крышах – глиняные конусы хлебных житниц и дощатые, открытые к северу люки, «ветроловы», для уловления северного ветра – «сладчайшего дыхания севера».

В самом конце Тешубовой улицы, неподалеку от Хеттейской площади, находилась харчевня Итакамы, хеттеянина, где ужинал лодочник Небра.

Плоское глиняное изваяние, вместо вывески, над дверью кабачка изображало ханаанского наемника, тянувшего через камышовую трубку пиво из кувшина; против него сидела египетская женка, должно быть, блудница или кабатчица; тут же была иерогlyphная надпись: «Пивом Хакетом, Пленом Сердца, Сердце свое утешает».

Юбра, входя в кабачок, оглянулся на нищенку и крикнул:

– Погоди, милая, хлебца вынесу!

Но она не рассыпалась: голос его заглушен был песнью двух гуляк-школьяров. Думая, что он гонит ее, побрела дальше. А те двое – один длинный, худой, по прозвищу Сулейка, другой низенький, толстый – Пивной Горшок, – ввалились в дверь и толкнули Юбру так, что едва не сшибли с ног. Оба во всю глотку орали:

Воду любят гусенята;
Мы же винные пары
Любим, пьяные ребята,
Удалые школьяры!
Пусть мудрец над книгой чахнет, –
Наша мудрость – чок да чок!
Любо нам, где пивом пахнет,
Школа наша – кабачок!

Юбра вошел в низкую, темную горницу, застланную кухонным чадом: Итакама жарил гуся на вертеле. Люди разного званья и племени, сидя на полу, на циновках, слушали двух игральщиц на киннаре и дуде, метали кости, играли в шашки и в пальцы – сгибая и разгибая их очень быстро, угадывали число их; если из глиняных чашек пальцами – у каждого был рукомойник для омовенья – и сосали пиво и вино через камышовые трубы.

Небра, увидев вошедшего приятеля Юбру, встал, обнял его – старики нежно любили друг друга – и заказал ему роскошный ужин: полбяной похлебки с чесноком, жареной рыбы, овечьего сыра, горшок пива и чашу гранатовой наливки. Как это часто бывает во время голода, даже бедные люди, точно храбрясь, любили роскошествовать на последние гроши.

Прежде чем сесть за ужин, Юбра вспомнил нищенку, отломил краюху хлеба и вышел за дверь. Но там ее уже не было, и он вернулся к Небре, опечаленный.

А нищенка, пройдя всю улицу и завернув за угол, остановилась: услышала запах печеного хлеба. Еще не старая, но со старчески сморщенным, больным и злым лицом, женщина, сидя на земле на корточках, пекла ячменные лепешки, прилепляя тонко скатанные блинцы к раскаленным стенкам глиняного, наполненного жаром углей, горшка.

– Хлебца, миленькая! Три дня не евши, – простонала нищенка.

Женщина подняла на нее злые глаза:

– Ступай с Богом. Много вас тут, бродят, шляются, всех не накормишь!

Но та не отходила и жадно смотрела на хлеб.

– Дай! Дай! Дай! – повторяла с исступленной, как будто грозящей, мольбой и вдруг, когда женщина отвернулась, чтобы взять из другого горшка теста, быстро наклонилась и протянула руку.

– Ах ты, чума ханаанская, жало скорпионье, сало змеиное, воровка, разбойница, гроба тебе да не будет! – завопила женщина и ударила ее по

руке.

– А тебе ослиный помет на гроб! – огрызнулась нищенка и ощерилась, как давешняя сука, отступая медленно и все еще жадно глядя на хлеб.

Женщина подняла камень с земли и швырнула в нее. Он попал ей в плечо. Страшно, по-сучьему, взывив, она побежала. Ребеночек в кузовке заплакал было, но тотчас затих, как будто понял, что теперь уже не до слез.

Добежав до Хеттейской площади, где была старая, бревенчатая, похожая на избяной сруб, часовенка бога Тешуба, упала она в изнеможены у горки сущенных на солнце для топлива навозных кирпичиков. Прислонилась к ним боком, неловко: кузовок мешал, а снять его не имела силы. Ребеночек затих в нем так, как будто не дышал; уснул или умер, – не смела пощупать рукою.

Вдруг вспомнила, как соседка ее, в уделе Черной Телицы, двенадцатилетняя девочка-мать, украла чужое дитя, зарезала спокойно, как баранчика, накормила свое дитя и сама поела. «Вот бы и мне так!» – подумала нищенка.

Рвущая боль в животе грызла ее, как зверь. От кирпичиков пахло навозом, точно съестным. Взяла один, отломила кусочек, положила в рот, пожевала и проглотила; потом – еще и еще. Съела полкирпичика. Боль в животе притупилась. Но вся она вдруг ослабела, как бы истаяла от слабости. «Скоро умру», – подумала и вспомнила: «Гроба тебе да не будет!» Усмехнулась: «Без гроба – без воскресенья... Ну что ж, пусть! Вечная смерть – вечный покой...»

Казалось и ей, но не так, как Юбре, что земля перевернулась вверх дном.

А Юбра в кабачке шептался с приятелем.

– Началось?

– Началось. Люди в Заречье уже собираются, ходят со святым ковчегом, славу Амону поют. А скоро, чай, и здесь пойдут, – ответил Небра и, подумав, прибавил: – Да нам-то что? Из-за ихнего бога бунт, – не из-за нашего.

– Пусть! – возразил Юбра. – Чем бы ни началось, а тем же кончится: перевернется земля вверх дном – и слава Атону!

– А ты, брат, потише: услышат – прибьют.

– Небось, не прибьем! – ухмыляясь, зашепелявил, как будто во рту его плохо ворочался слишком толстый язык, малый с прикурковатым лицом, Зия-столяр, по прозвищу Блоха. – Нам что Амон, что Атон, все едино. Был бы хлеб дешевле рыбы, а на прочее все наплевать!

– Глупый ты человек, Блоха! – заговорил котельщик Мин, угрюмый и важный стариk, с темным от сажи лицом и светлыми, как вода, глазами. – Сын-то Амонов, Хонзу, кто? Озирис-Бата – Хлебный дух. Выйдет из земли дух, и хлебу конец, – переколеем все, как черви капустные!

– А что, братцы, – опять зашепелявил Блоха, – правда ли, будто золотого Хонзеньку нашего переплавят на денежки, хлеба накупят да раздадут голодным?

– Что тяжеле свинца, и какое имя ему, как не глупость? – проговорил, глядя на него с ученой важностью, Сулейка, школляр.

– А ты этот хлеб есть будешь? – спросил Мин, тоже взглянув на Блоху с презрением.

– Я-то? Да мне что? Как все, так и я, – ответил тот, осторожно ухмыляясь и поеживаясь.

– Все будут есть! Все будут есть! – заспешил, замахал руками и закашлялся чахоточный сапожник Мар-Шпинек. – Слопала младенца свинья и не расчухала, дальше хрюкать пошла; так и народ, – съест бога, скажет: «Мало – еще подавай!»

– Ну да и подлецы же мы будем, сукины дети, коли пречистый лик божий на поруганье дадим! – воскликнул, ударяя кулаком правой руки по ладони левой, великан с детским лицом, кузнец Хафра – Белый Камень.

- Одного я в толк не возьму, – заговорил, тяжело вздыхая, котельщик Мин. – Сказано: царь – бог. Как же бог на бога восстал?
- Это не царь, а господа большие, кровопийцы наши, утробы несытые! – опять заспешил и закашлялся Шпинек; отхаркнул с кровью и кончил: – Перевешать бы их всех, как плотвой соленых, на одну веревочку! А главный зачинщик всему – Тута, кот ласковый, – его бы на кол первого!
- Мыши кота хоронили! – сказал, горько усмехаясь, Мин. – Нет, брат, руки коротки. Господа говорят – народ молчи: у кого меч – за тем и речь.
- Бывает и нож хорош, да вот беда: в лапке у заиньки нож, а в сердце у заиньки дрожь. Оттого и сидят у нас на шее толстобрюхие. А не будь мы дураки, больших бы можно нынче дел наделать! – проговорил все время молча игравший в кости широкоплечий, плотный, приземистый, небольшого роста человек лет сорока, со страшно искалеченным, но умным и спокойным лицом, Кики Безносый, кладбищенский вор, недавно ограбивший могилу древнего царя Зеенкеры, ободравший с царской мумии листового золота и драгоценных камней на тысячи дебенов, схваченный, судимый и оправданный за большую взятку.

Кики было имя его подложное, настоящего никто не знал. Сказывали, будто бы он в юности совершил ужасное злодейство: будучи мастеровым у бальзамировщика, осрамил мертвое тело молодой, прекрасной и знатной девушки; злодея зарыли живым по горло в землю, но он чудом спасся, бежал, сделался атаманом разбойничьей шайки в болотах Устья, был пойман и, по отрезанью носа палачом, сослан на золотые Нубийские прииски; снова бежал и разбойничал, снова был схвачен и сослан в медные Синайские копи; но и оттуда бежал, долго скрывался и, наконец, перед самым бунтом явился в Нут-Амоне, под видом Кики Безносого.

Только что он заговорил, как все замолчали и обернулись к нему. Но он уже опять занялся костями, с таким видом, как будто все, что здесь говорилось, была пустая болтовня.

На минуту умолкшие было игральщицы снова забренчали в киннару, задудили в дуду, а школьры затянули пьяную песню. Стемнело. Засветили подвешенную к потолку медную лампаду со зловонным кунжутным маслом и глиняные плошки с овечьим салом.

– Зен говорит! Зен говорит! Слушайте! – послышались вдруг голоса.

Зен – Зеннофер, человек лет тридцати, с болезненным, грустным и тихим лицом, со страшными, на слепых глазах, бельмами, младший жрец – уаб, в святилище бога Хонзу-Озириса, слыл прозорливцем, потому что знал наизусть древние свитки пророков и сам имел виденья, слышал гласы.

Игральщицам велели замолчать, пьяных школьров вытолкали взашей на улицу, и в наступившей тишине раздался тихий, как бы далекий, голос пророка.

– Кому скажу печаль мою? Кого призову к рыданию? – говорил он, точно плакал во сне. – Не слышат, не видят, ходят во тьме: все основания земли колеблются. Нет разумного, кто уразумел бы, и нет безумного, кто оплакал бы!

Вдруг протянул руки и воскликнул громким голосом:

– Было и будет! было и будет! Будет зло бесконечное. Люди богам опротивеют, боги землю покинут, на небо уйдут. Солнце померкнет, земля запустеет. Взвоят стада на полях, сердце скотов заплачет о людях, люди же плакать не будут – будут смеяться от скорби. Скажет старик: «Умереть бы!» и дитя: «Не рождаться бы!» Будет великий мятеж по всей земле. Скажут города: «Изгоним начальников!» Вторгнется чернь в палаты суда; свитки законов будут разорваны, межевые списки расхищены, стерты межи полей, пограничные столбы повалены. Скажут люди: «Нет чужого, все общее; и чужое – мое; что хочу, то возьму!» Скажет бедный богатому: «Вор, отдай, что украл!» Скажет малый великому: «Все равны!» Жить будет в доме дома не строивший; непахавшие наполнять житницы; в ткань облекутся не ткавшие, и смотревшаяся в воду будет смотреться в зеркало. Золото, жемчуг, лapis-лазурь будут на шеях рабынь, а госпожа пойдет в рубище, скажет: «Хлебца бы!» Новыми богами делаются нищие, и перевернется земля вверх дном, как вертится гончарный

Вдруг встал, упал на колени и поднял слепые глаза к небу, как будто уже увидел то, о чем говорил:

– Было и будет, – будет новая земля и новое небо. Лев ляжет вместе с ягненком, и младенец взыграет над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Благословен Грядущий во имя Господне! Он сойдет, как дождь на скошенный луг и как роса – на землю безводную. Вот Он идет!

Замолчал, и все молчали.

– Все врет! – послышался вдруг в тишине голос Кики Безносого. – И что вы дурака слушаете?

– А ты что на пророка божьего лаешь, пес? – проговорил Хафра, Белый Камень и положил руку на плечо Кики так тяжело, что он пошатнулся. Ловким движеньем выскользнул из-под нее, схватился за висевший у пояса нож; но, взглянув на детское лицо великана, должно быть, раздумал сердиться, усмехнулся одними глазами и проговорил спокойно:

– Ладно, коли он пророк, пусть скажет, когда это будет?

– Для таких, как ты, никогда, а для святых скоро, – ответил Зен.

– Скоро? Ну вот и соврал. Нет, брат, много воды утечет, пока дураки поумнеют.

– Да ты-то сам знаешь, когда? – спросил Хафра.

– Знаю.

– Ну так говори, не мямли!

– А что, пророк, Уны-царя надпись надгробную помнишь? – проговорил Кики, усмехаясь все так же, одними глазами.

Зен молчал, как будто не слышал, но что-то дрожало в лице его, как у маленьких детей, готовых испугаться и забиться в родимчике.

Юбра тоже начал дрожать: понял, что в этом споре между святым и злодеем решаются судьбы земли. А Белый Камень все грознее хмурился.

– Забыл? Ну так я напомню, – продолжал Безносый. – Жил-был Уна-царь в древние дни. Умный был человек, умнее всех людей на земле, а разбойник, вор, сукин сын, не хуже нашего. Помер, похоронили его и сделали над гробом надпись, какую сам он велел: «Кости земли трещат, небо трясеться, звезды падают, боги дрожат: Уна-царь, богов пожиратель, выходит из гроба, идет на ловитву, ставит капканы, ловит богов; режет, варит, жарит, ест: большеньких – на завтрак, средненьких – на полдник, меньшеньких – на ужин, а старичков да старушек – на благовонное курево. Всех пожрал и стал богом богов».

– Что ты вздор мелешь, шут? – крикнул Белый Камень, сжимая кулаки в ярости.

– Прямо говори, не отваливай!

– А вот и прямо: скоро – не скоро, а час придет: скажут нищие, скажут убогие: «Чем мы хуже Уны-царя, богов пожирателя?» Скажут сукины дети, воришки, разбойнички, лбы клейменые, спины драные, ноздри рваные, носы резаные, скажут проклятые, скажут Пархатые: «Мы ничто – будем всем!» Тогда и перевернется земля вверх дном; тогда и он придет...

– Кто он? – спросил Хафра.

– Сэт-Озирис, Черненький-Беленький, два братца в одном – бог-смерд!

– Молчи, убью! – закричал кузнец и занес над ним кулак. Кики отскочил и выхватил нож. Началась бы резня, но вдруг с улицы послышались крики:

– Идут! Идут! Идут!

– Бунт! – догадался первый Шпинек и бросился к двери. Все за ним.

Сделалась давка. Блоху притиснули к стенке, чуть не раздавили. Мина повалили на пол. Хафра споткнулся об него и тоже упал. Кики перескочил через обоих и свистнул разбойничьим посвистом, крикнул:

- Есть ножи?
- Есть! – ответил ему кто-то с улицы.

Там все бежали, как на пожар, в одну сторону, от Ризитской пристани к Хеттейской площади.

Было темно, луна еще не всходила, только звезды мерцали на небе и где-то полыхало красное зарево.

VII

Люди толпились на площади. Смутный гул голосов прерывали отдельные возгласы:

- Слава Амону Всевышнему! Слава Хонзу, сыну Амонову!

Вдруг, сначала издали, а потом все ближе и ближе, послышалось стройное пенье. Площадь осветили красные светы факелов, и торжественное шествие вступило на нее.

Впереди – ливийские наемники; за ними – опахалоносцы, кадилоносцы; потом – хоремхэбы – жрецы-заклинатели; и, наконец, двадцать четыре старших жреца-нетератефа, по двенадцати в ряд, с бритыми головами, в леопардовых шкурах через плечо, в белых, широких, туга накрахмаленных, как бы женских, юбках, несли на двух шестах божий ковчег – Узерхет, ладью акацийного дерева, с льняными парусами-завесами, скрывающими маленькое, в локоть, изваяньице бога Амона. Тень его сквозила сквозь тонкую ткань в трепетном свете факелов; но и на тень бога люди не смели взглянуть: увидеть – умереть.

За ковчегом шла толпа. Пели хором:

Слава Амону Всевышнему,
Слава Хонзу, Сыну Амонову!
Пойте им в высоту небес,
Пойте им в широту земли,
Возвещайте славу их!
Скажите: «Бойтесь Господа!»
Скажите в роды родов,
Великому и малому,
Всей твари дышащей,
Рыbam в воде и птицам в воздухе,
Скажите знающим и незнающим:
«Бойтесь Господа!»

Юбра тоже пел, произнося имя Атона вместо Амона; в хоре это не было слышно. А иногда ошибался, славил бога врагов своих и радовался: знал, что там, куда они идут, уже не будет врагов; лев и агнec будут вместе лежать, и младенец взыграет над норою аспида.

Рядом с Юброй шла нищенка из удела Черной Телицы. Давеча нашел он ее на площади, у горки навозных кирпичиков, полумертвую от голода, привел в чувство и накормил: Небра достал у приятеля-лодочника хлеба для нее и молока для ребеночка. Поев и увидев, что дитя живо, сосет соску, ловко скатанную для него Юброй, она ожила и пошла за ним, как собака идет за накормившим ее человеком. С ним попала и в шествие.

Крепко и ласково держал он ее за руку, как будто вел и эту погибвшую дочь земли в землю новую, и эту скорбную – к Утешителю. Плохо понимала она, что происходит, и, не смея взглянуть на тень бога за тканью завес, только повторяла со всеми:

Слава тебе, Милосердный,
Владыка безмолвных,
Заступник смиренных,
Спаситель низверженных в ад!

Когда вопиют они: «Господи!» –
Ты приходишь к ним издали
И говоришь: «я здесь!»

В ад низверженной была и она: не придет ли Он к ней, не скажет ли: «я здесь», – думала она и радовалась так, как будто знала, что там, куда они идут, уже не будет голоды и материю не надо будет красть чужих детей и резать, как баранчиков, чтобы накормить своих.

Первым в левом ряду двенадцати жрецов-нетератефов, несших ковчег, шел Пентаур. Юбра увидел его, и они обменялись взглядами. «А ты как сюда попал, слуга Атонов? Уж не сыщик ли?» – прочел Юбра в глазах Пентавра. «Ну, полно, какие теперь сыщики? Все мы братья», – ответил Юбра тоже взглядом, и тот, казалось, понял, – улыбнулся, как брат.

Шел в толпе и Зен-пророк: мальчик-помощник вел его за руку. Скорбно до смерти было лицо его, – может быть, он знал, что Кики Безносый прав: только для того и перевернется земля вверх дном, чтобы пришел бог-смерд.

Вышли по улице Медников на священную дорогу Овнов. В самом конце ее тускло-красный шар луны, перерезанный черной иглой обелиска, как суженным зрачком – кошачий глаз, выкатывался медленно из-за святилища Мут.

Вдруг шествие остановилось. Впереди послышался трубный зык, барабанный бой; засвистели стрелы и камни пращей: то была застава нубийских стрелков и пращников, высланных против бунтовщиков.

Одна стрела вонзилась в подножье ковчега. Жрецы опустили его наземь; люди обступили и покрыли бога телами своими.

Натиск нубийцев был так стремителен, что ливийские наемники дрогнули и побежали бы, если бы не подоспела внезапная помощь.

Давеча Кики Безносый, с кучкою таких же, как сам он, удалцов, прошел с Хеттейской площади на ту насыпную дорогу, где работники, тащившие днем исполинское изваяние царя Ахенатона, полегли на ночь спать тут же, на дороге, кто на соломе, а кто и на голой земле. Большой части их Кики не мог добудиться: спали таким мертвым сном, чтоказалось, если бы земля под ними горела, не встали бы. Но меньшую часть, сотни три, поднял он одним возгласом: «Грабь!» – повел их на заставу нубийцев и, ударив ей в тыл, решил битву в пользу бунтовщиков.

Шествие двинулось дальше с победною песнью:

Горе врагам твоим, Господи!
Тымою покрыто жилище их, –
Вся же земля во свете твоем;
Меркнет солнце тебя ненавидящих,
И восходит солнце любящих!

Дойдя до Амона храма, прошли мимо него и завернули направо, к святилищу Хонзу. С легкостью рассеяли малый отряд мадиамских стрелков и вошли в храм. Но здесь узнали, что золотой кумир Хонзу, при первом известии о бунте, был вынесен и спрятан в ризнице Амона храма.

– Полн-ка, люди, бога спасать, пора и о себе подумать! – крикнул в толпу Кики Безносый, вскочив на пустое подножье кумира Хонзова. – Здесь нам поживы не будет, все Амона сволочь пограбила, а за рекой, в Чарукском дворце, еще много добра. Ну-ка, братцы, за реку!

Спор поднялся, чуть не драка, что делать, бога спасать или грабить.

Юбра слушал, и страх нападал на него: то ли началось, чего он ждал, или совсем другое?

Долго спорили; наконец разделились: большая часть пошла с Кики за реку, а меньшая – к Амонову храму.

Эту часть вел Пентаур. Ждали новой засады, потушили факелы. Люди шли молча, с суровыми лицами: знали, что, может быть, идут на смерть. «Все умрем за Него!» – думал Юбра с тихою радостью.

Подойдя к Амонову храму, увидели, что стражи не было. два гранитных колосса

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
и два обелиска, как будто стоя на страже, откинули на белокаменную площадь, залитую лунным светом, черные тени.

Пентаур с кузнецом Хафром подошли к воротам храма. Тускло, под луною, искрилось золото их с иероглифами из темной бронзы – двумя словами: «Великий Дух».

– Руби! – сказал Пентаур.

Хафра поднял топор, замахнулся, но не посмел ударить, опустил руку. Пентаур выхватил у него топор и воскликнул:

– Поднимите, врата, верхи ваши и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!

Поднял топор и ударил. Гул тяжело прокатился в звонкой пустоте за вратами, как будто из-за них ответил сам Великий Дух.

– Ахайуши, Ахайуши, дьяволы! – послышались крики в толпе.

Ахайуши – ахейцы, полудикие наемники севера, только что прибыли в Египет на службу к царю, прямо в Город Солнца. В Нут-Амоне их почти не знали, но уже ходили страшные слухи об их безумной отваге и лютости.

Выскочив сразу из трех засад, окружили они толпу бунтовщиков со всех сторон и прижали ее к стенам храма так, что некуда было бежать. А наверху, над вратами, на плоской крыше храма, тоже засияли медные шлемы и копья; там была засада эфиопских пращников. Градом посыпались оттуда стрелы, камни и свинцовые пули пращников.

Пентаур поднял глаза и увидел прямо над собой, в одном из узких окон-бойниц в стене храма, мальчика лет пятнадцати, с черной обезьянью мордочкой, хищным оскалом белых зубов и двумя раскосо торчавшими перьями, зеленым и красным, в черной шапке курчавых волос. Положив стрелу на тетиву, он медленно натягивал огромный, из носорожьей кости, лук и целил в Пентаура.

Тот вспомнил, как давеча ручная обезьянка, сидя на верхушке пальмы, над крышею Хнумова дома, кидала шелуху стручков в спавшую плясунью Мируит, – и чуть-чуть усмехнулся. Мог бы отскочить за выступ стены, но подумал: «Зачем? все равно убьют, да и хорошо умереть за Того, Кто был...»

Тетива зазвенела.

«Был или будет?» – успел он спросить и ответить: «Был, есть и будет!» – пока стрела свистела. Медное жало ее вонзилось в грудь его, под левым соском. Он упал на пороге запертых врат: подняли врата верхи свои, и поднялись двери вечные, и вошел Царь славы.

Юбра, стоя у ковчега, смотрел, как дралась последняя горсть ливийцев. Вдруг свинцовая пуля пращи ударила его в висок. Он упал и подумал, что умирает. Но через минуту приподнялся на локте и увидел, что ахейские дьяволы рубят ковчег. Белые завесы повисли, как сломанные крылья, обнажая маленькое, деревянное, источенное червями, закоптелое от дыма курений, углаженное поцелуями изваяннице бога. Воин схватил его, поднял, размахнулся, ударил оземь и наступил на него ногою. Божье тельце хрустнуло под нею, как раздавленное насекомое.

Юбра пал лицом на землю, чтобы не видеть.

А Пентаур спокойно умирал. Кто-то тихий-тихий, как бог, чье имя «Тихое Сердце», – то ли мальчик, похожий на девочку, то ли девочка, похожая на мальчика, – склонился над ним. «Кто ты?» – хотел он спросить, но вечный поцелуй замкнул ему уста. И тихие струны запели:

Ныне мне смерть, как мицца сладчайшая,
Ныне мне смерть, как выздоровление,
Ныне мне смерть, как дождь освежающий,
Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!

VIII

Дио отправилась на свиданье с Птамозом, когда бунт только начинался в

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
Заречьи, а по сю сторону реки еще все было спокойно.

Иссахар ждал ее у восточных ворот Апет-Ойзитской ограды, где лежало в развалинах запустевшее гробничное святилище царя Тутмоза Третьего. Выйдя из носилок и велев людям ждать у ворот, она вошла с Иссарабом в полуразрушенный пylon святилища. Подойдя к стене, покрытой сплошь изваяньями и росписью так, что не видно было пазов между камнями, он уперся плечом в стену. Подвижной, на оси вращавшийся камень повернулся, открывая узкую, темную щель. Боком пролезли в нее оба и начали сходить по крутым, вырубленным в толще скал, ступеням. Иссараб с факелом шел впереди по отлого спускавшемуся подземному ходу.

Было душно: недра земли, прогреваемые вечным египетским солнцем, никогда не простывали: солнцем напоен был мрак. «Слава тебе, Боже, во мраке живущий!» – вспомнила Дио. Здесь, казалось, и мертвым тепло лежать в гробах, во чреве земли, как младенцам во чреве матери.

Бесконечная роспись вдоль стен изображала плаванье бога Солнца по второму, подземному Нилу: в бездыханной тишине повис парус ладьи, и мертвые пловцы волокли ее волоком, через двенадцать пещер – двенадцать часов ночи, от вечного вечера к утру вечному.

Тут же иероглифы славили Полночное Солнце, Амона Сокровенного:

Когда за край неба нисходишь ты,
самый тайный из тайных богов,
то сущим в смерти свет несешь,
и, прославляя тебя из гробов своих,
воздевают усопшие длани свои,
веселятся под землею сущие!

Главный ход пересекали боковые ходы. Вдруг замелькали по ним красные светы факелов и черные тени – люди с ношами копий, мечей, луков и стрел.

- Куда несут оружье? – спросила Дио.
- Не знаю, – ответил Иссараб нехотя.

«В город, должно быть, бунтовщикам», – догадалась она.

В этих подземных тайниках Амонова храма были склады оружья, а также серебра и золота в слитках, лapis-лазури в кусках – остатки храмовой казны, утаенные от царских сыщиков. Все это собрано было на день восстания против царя-богоотступника.

Завернув за угол, в один из боковых ходов, и пройдя его до конца, остановились у запертой дверцы в стене. Иссараб отпер ее, вошел, засветил о факел лампаду, поставил ее на пол и сказал:

- Подожди здесь, за тобой придут.
- А ты куда? – спросила Дио.
- За Пентауром.
- Ступай, ступай, приведи его сюда! – проговорила она радостно: все время думала о нем.

Иссахар вышел и запер дверь.

Дио оглядела келийку, пустую, сводчатую, длинную и узкую, как гроб, а может быть, и в самом деле гроб. Стены покрыты были сверху донизу иероглифными столбцами и росписью.

Села на пол. Долго ждала, соскучилась. Встала и, взяв лампаду, подошла к стене, начала разглядывать роспись и читать иероглифы. Загляделась, зачиталась так, что не слышала, как время шло.

Вдруг пламя лампады снизилось, вспыхнуло в последний раз и погасло. Сдвинулись стены душного, черного, как бы осаждаемого, мрака. Ей сделалось страшно, что не придут за нею, оставят ее в этом гробу.

Подошла к двери ощупью и начала стучать, кричать. Прислушалась: тишина мертвая. Сделалось еще страшнее. Вдруг вспомнила Пентаура, и страх прошел: если жив – придет.

Села опять, прислонилась спиной к стене и так замерла. Странная тихость нашла на нее; что это – сон или явь, сама не знала. Всю ее наполнял, как вода наполняет сосуд, черный, теплый, солнечный мрак. С тихим восторгом шептала прочитанные давеча в иероглифной надписи слова умершего к ночному Солнцу, богу сокровенному:

– «Он есть – я есмь, я есмь – Он есть!»

И казалось, что сама она, мертвая, лежа во чреве земли, как дитя во чреве матери, ждет воскресенья – рожденья в вечную жизнь. А тихие струны поют:

Ныне мне смерть, как мирра сладчайшая...

Вдруг свет ударили в глаза. Сгорбленный, дряхлый старик с факелом – жрец, судя по бритому черепу и леопардовой шкуре, перекинутой через плечо, нагнулся к ней, взял ее за руку, поднял и повел.

– Кто ты? Куда? – спросила она.

Он молчал и хотел было вести ее вниз, по такой же крутой, узенькой лестнице, как давеча.

– Нет, вниз не хочу, – сказала она. – Веди меня наверх. Где Пентаур?.. Что же ты молчишь? Говори.

Старик помычал, открыл рот, указал ей пальцем на обрубок вместо языка и объяснил знаками, что Пентаур сойдет вниз и что внизу ее ждут. Она поняла, что ждет Птамоз.

Продолжали спускаться. Дио опять не знала, что это – сон или явь. У немого было такое мертвое лицо, что ей казалось, сама Смерть ведет ее в царство смерти.

Остановились у запертой двери. Немой постучался. Изнутри окликнули и, когда Дио назвала себя, отперли.

В низкой гробничной палате, или святилище, стояло гробовое ложе с лежавшей на нем в белом саване мумией. Что-то почудилось Дио в лице ее страшное – страшнее смерти.

Немой провел ее мимо ложа в глубину палаты, где сводчатая впадина в стене, обитая листовою красною медью, рдела в огнях бесчисленных лампад, как небо в вечернем зареве. Там, в дыму благовонных курильниц, на ложе из пурпурного спал огромный, черный, вислоухий ливийский овен, переведенный сюда, должно быть, из верхнего храма, «великий блеяньем» – пророчеством; божественное животное – живое сердце святилища.

Рядом с ним, как возлюбленная на ложе любимого, девочка лет тринадцати, судя по светлому цвету кожи и белокурым волосам, не египтянка, положив голову на спину зверя и полусмежив глаза, бесстыдно-невинно раскинулась, вся голая, только с узким, из драгоценных камней, пояском пониже пупа, вся белая, бледная на черно-косматом руне, как цвет смерти, нарцисс. Это была одна из двенадцати жриц бога Овна, Амона-Ра.

Когда Дио подошла к нему, девочка открыла глаза и взглянула на нее пристально. Что-то было в этом взгляде такое унылое, что сердце у Дио сжалось: вспомнилась ей другая жертва бога Зверя, Пазифайя-Эойя.

Немой пал ниц, поклоняясь Овну. Молодой жрец с постным и строгим лицом, стоя на коленях рядом с Дио, жег благовонья в курильнице.

– Богу поклонись! – шепнул он, взглянув на нее сурово.

Дио тоже взглянула на него, но ничего не ответила и, хотя знала, что это опасно, – могли за нечестье убить, – не поклонилась зверю.

Девочка, открыв глаза, пошевелилась; овен проснулся и тоже зашевелился грузно, медленно: видно было, что очень стар – чуть душа держится в теле.

Открыл один глаз: из-под темной, с седыми ресницами, тяжело поднявшейся веки грозно затеплился зрачок, огненно-желтый, подобный карбункулу, и заглянул ей прямо в глаза почти человеческим взором.

– Око свое, солнце, отверзает бог, и просвещается вселенная! – шептал жрец молитву.

Кончил, встал, взял Дио за руку и подвел ее к ложу с мумией. Нагнулся к мертвому и сказал ему что-то на ухо. Дио отшатнулась: мертвец открыл глаза.

Сквозь прозрачно-белую ткань савана сквозило темно-бурое, как иссохшее дерево, остовоподобное тело – труп. Выпуклые, как будто оголенные, жилы на впалых висках, тонкие, как ниточки, губы ввалившегося рта и хрящи горбатого носа – ястребиного клюва, обтянутые глянцевитою кожей, казались особенно мертвыми. Но в это мертвое лицо как будто вставлены были живые глаза, молодые, бессмертные.

Жрец благоговейно приподнял мумию и положил голову ее повыше на изголовье. Мертвые губы разжалась и зашептали, зашелестели, как сухие листья.

– Слушай, Урма с тобой говорит, – сказал жрец.

Дио только теперь поняла, что это великий ясновидец – Урма, тайнозритель неба, пророк всех богов юга и севера, первосвященник Амона, Птамоз.

Ему было лет за сто – возраст нередкий в Египте. Многие считали его давно умершим, потому что больше десяти лет, с той самой поры, как царь-отступник начал гнать веру отцов, он скрывался в подземных тайниках и гробах; из тех же, кто знал, что он еще жив, одни говорили, что он никогда не умрет, а другие, что умер и воскрес.

Дио стала на колени, нагнулась к низкому ложу и приблизила ухо к шептившим губам.

– Наконец-то, пришла, доченька моя милая! Отчего же так долго не шла?

Вкрадчивая ласковость была в этом шепоте, влекущая сила в глазах.

– Много мне о тебе Пентаур сказывал, да всего о другом не скажешь. Ну-ка, сама скажи...

Начал ее расспрашивать, но прежде ответов,казалось, уже знал все, читал в сердце ее, как в развившемся свитке.

– Бедная, бедная! – прошептал он, когда она рассказала ему, как погибли из-за нее Эойя и Таммузадад. – Всех, кого любишь, губить – вот мука твоя. Это знаешь?

– Знаю.

– Ох, смотри же, как бы тебе и его не погубить!

– Кого его?

– Царя Ахенатона.

– Ну что ж, погублю, тебе же лучше! – проговорила она, усмехаясь через силу.

Тень усмешки промелькнула и в глазах старика.

– Думаешь, я ему враг? Нет, видит Бог, не лгу – что мертвому лгать? – люблю его, как душу свою!

– Отчего же восстал на него?

– Не на него я восстал, а на Того, Кто за ним.

– На Сына?

– У Бога нет Сына.

– Как же без Сына Отец?

– Все сыны у Отца. Великий любовью рождает богов и птенцу в яйце дает дыханье, хранит сына червя, кормит мышонка в норе и мошку в воздухе. И сын червя – сын божий. Камни, злаки, звери, люди, боги – все сыны; нет Сына. Кто сказал: «я – Сын», – отца убил. Уа-эн-уа- Единый-из-единых – Он, и никто, кроме Него. Кто сказал: «два Бога», – Бога убил. Вот на кого я восстал – на богоубийцу. Он спасет мир? Нет, погубит. Он принесет себя в жертву за мир? Нет, мир – за себя. Люди возлюбят Его и возненавидят мир. Мед будет им полынью, свет – мраком, жизнь – смертью. И будут погибать. Тогда придут к нам и скажут: «Спасите нас!» И мы их снова спасем.

– Снова? Разве это уже было?

– Было. Было и будет. Знаешь, что значит Нэмакн – повторенье, возвращенье вечное? Кружится, кружится вечность и возвращается на круги свои. Все, что было в веках, будет в вечности. Был и Он. Первое имя Его – Озирис. К нам пришел, и мы Его убили и дело Его уничтожили. Царство Свое Он хотел основать на земле живых, но мы Его изгнали в царство мертвых, вечный Запад – Аменти: тот мир Ему, этот – нам. И снова придет, и мы снова убьем Его, и дело Его уничтожим. Мы победили мир, а не Он.

– Нет Сына, а может быть, нет и Отца? – спросила Дио, глядя на него с вызовом. – Правду, правду говори, не лги: есть Бог или нет?

– Бог есть – Бога нет; говори, что хочешь, – ничего не скажешь: тщетны все слова о Боге.

– Вор! Вор! Поймали вора! – воскликнула Дио и рассмеялась ему прямо в лицо.
– Так я и знала, что ты безбожник!

– Глупая! – проговорил он все так же тихо и ласково. – Я мертв: мертвые видят Бога. Богом живым заклинаю тебя, прежде чем идти к Нему, подумай, нет ли в словах моих истины?

– А если есть, тогда что?

– Уйди от Него, будь с нами.

– Нет, и тогда буду с Ним!

– Любишь Его больше, чем истину?.. Ступай же к Нему, соблазнителю, сыну погибели, дьяволу!

– Сам ты дьявол! – закричала она и подняла руку, как будто хотела ударить его.

Немой подскочил, схватил ее за руку и занес над нею нож.

– Оставь, не тронь! – сказал Птамоз, и тот отступил от нее.

Вдруг послышалось тихое, как детский плач, и дряхлое, дребезжащее блеянье: блеял Овен. Птамоз посмотрел на зверя, и тот – на него, как будто поняли друг друга.

– Горе, горе пророчит земле Великий блеяньем! – воскликнул старик и поднял глаза на Дио. – Ступай наверх, – увидишь, что делает Он. Там уже началось, и не кончится, пока Он не придет!

Потом, взглянув на немого, сказал:

– Отведи ее наверх, пальцем не тронь, головой за нее отвечаешь!

Закрыл глаза, и опять казалось, что лежит на ложе труп.

Дио бежала наверх с одною мыслью: «Где Пентаур, что с ним?»

Выходя из тайника тою же, как давеча, дверью, миновала развалины Тутмозовой гробницы и пошла вдоль южной стены Амонова храма. Здесь, на белых камнях храмового помоста, залитого лунным светом, мертвые тела валялись как на

поле сраженья. Полудикие, гиеноподобные псы терзали их. Тощая сука, сидя на задних лапах и подняв окровавленную морду, выла на луну.

Вдруг Дио остановилась. В лунно-светлом небе чернела игла обелиска; иероглифы на зеркально-гладких гранях гранита славили царя Ахенатона, Радость-Солнца, а у подножья кто-то сидел, скрючившись; живой или мертвый, Дио не могла понять. Подошла, наклонилась и увидела: мертвая, исхудалая, как остав, женщина, прижала окоченелыми руками мертвое дитя к страшно отвислым, сморщенным, почернелым, точно обугленным, сосцам и, глядя на него остеклевшими глазами, скалила белые зубы, как будто смеялась. Это была нищенка из удела Черной Телицы.

Дио вспомнила виденный ею однажды черно-гранитный кумир богини Изиды-Матери с сыном Гором, и вдруг показалось ей, что эта мертвая – сама Изида-Мать, проклятая, убитая – Кем? «Ступай наверх, – увидишь, что делает Он!» – прозвучали над ней слова Птамоза.

Услышав шаги, обернулась. Подошел Иссахар.

– Где Пентаур? Что с ним? – вскрикнула она и, прежде чем он ответил, поняла по лицу его, что Пентаур убит.

Сердце пронзила знакомая боль неискупимой вины, неутолимой жалости. «Всех, кого любишь, губить – вот мука твоя», – опять прозвучали над ней слова ясновидца.

Долго не могла она понять, что говорит Иссахар; наконец поняла: тело Пентаура не выдают ему; может быть, выдадут ей.

Пошла за ним. Цепь часовых охраняла доступ к вратам Амона храма. Сотник узнал Дио: видел ее в Белом Доме наместника; пропустил обоих и велел выдать тело Пентаура.

Он лежал там же, где был убит, – у порога западных врат. Тускло, под луною, искрилось золото их, с иероглифами из темной бронзы – двумя словами: «Великий Дух».

Дио стала на колени, заглянула в лицо мертвого, нагнулась к нему и поцеловала в уста. Холод их проник в нее до самого сердца.

«Это сделала я – это сделал Он!» – подумала она, и в слове «Он» был для нее смысл двойной: он – царь, и Он – Сын.

IX

С плоской крыши Хнумова дома Дио смотрела на пожар в Заречье. Горел Чарукский дворец, местопребыванье царского наместника, Тутанкатона. Весь деревянный, из очень старого, сухого кедра и кипариса, он пыпал жарко и ровно, как смоляной факел. Голые кручи Ливийских гор, освещенные снизу, рдели как раскаленные; пламя отражалось в реке красным столбом, и белый дым клубился в двойном свете – лунно-голубом и огненно-розовом.

Рядом с Дио стояли на крыше слуги Хнумова дома. На лицах у всех была та безотчетная радость, которую испытывают люди при виде ночного пожара.

- Вон, вон выкинуло где! Женский терем горит, – сказал кто-то.
- Нет, притвор царевичев, – возразил другой.
- А вот и в саду занялось, у самого озера; должно быть, часовня Атонова.
- А ведь это, чай, все он, Кики Безносый, орудует, – его рук дело!
- Вволю пограбят, небось, руки погреет голытьба заречная!
- Глянь-ка, братцы, глянь, и на нашей стороне началось! – радостно указал кто-то на правобережную часть города, где в двух местах сразу вспыхнули огни пожаров.
- Ах, сукины дети, со всех концов запалили! Снизу, по крутой лесенке, взошел на крышу Хнум. Двое слуг его под руки. Он только что встал с

ложа, больной: после давешнего суда над Юброй сделался у него припадок печени. Старушка Нибитуйя и письмоводитель Иниотеф шли за ним.

Хнуму подали кресло, а Нибитуйя села у ног его, на скамеечку. Дио подошла к ним и поцеловала обоих в плечи.

– Давно ли, дочь моя, из города? – спросил ее Хнум.

– Только что.

– Не слыхала ли чего?

– Бунтовщиков разогнали сейчас у Амонова храма, в Ойзите, а в других местах опять собираются, ходят, грабят и жгут. Прибыли, говорят, ахейские наемники с царским страженачальником, Маху.

О смерти Пентаура она ничего не сказала, потому что не имела силы говорить.

– Чудеса! – пробормотал себе под нос Иниотеф и покачал головой, усмехаясь.

Хнум глянул на него исподлобья, угрюмо:

– Чего бормочешь?

– Чудеса, говорю: сколько верных войск в городе, а на бунтовщиков не послали, дождались ахейцев!

– Молчи, дурак, не болтай лишнего... А царский наместник где? – опять обратился он к Дио.

– Никто хорошенъко не знает. Одни говорят, за рекой, а другие – на эту сторону ушел, с верным отрядом нубийцев.

Едва не сказала «бежал», и Хнум это понял.

– Ухух, помилуй, ухух, помилуй! – завздыхала Нибитуйя. – Как бы злодеям в руки не попался!

Хнум долго, молча смотрел на огонь пожара.

– Так-так-так! Вот оно, вот начинается, – заговорил он тихо, как будто думая вслух. – По Ипуверову пророчеству: «Господами будут рабы, новыми богами делаются нищие». Юбра-то, Юбра наш, смерд, знал, что делает: знает муравей, куда хватит полая вода: кочку строит, где не смоет. Ушел к бунтовщикам вовремя!

Дио тоже смотрела на пожар, и вдруг нашло на нее знакомое чувство повторенья, возвращенья вечного – нэманс, – «все это уже было когда-то»: так же красное пламя пожара освещало снизу голые скалы и отражалось в черной воде красным столбом; так же белый дым клубился в двойном свете, серебряно-лунном и розово-огненном; так же пронзал ее всю холод мертвых уст: как вошел в нее давеча, когда, прощаясь с Пентауром, поцеловала его, – так и остался в ней.

Быстрые шаги послышались на лесенке. Сотник наместничьих телохранителей, совсем еще молоденький мальчик, взбежал на крышу. По запыленному шлему, разорванной одежде, бегающим глазам и дрожащим губам видно было, что он прямо из жаркого дела.

– Господину моему радоваться, – проговорил он, подойдя к Хнуму и кланяясь низко. – От его высочества велено сказать...

Так спешил, что задохся.

– Благополучен ли государь наместник? – спросил Хнум, вглядываясь в испуганное лицо мальчика.

– Слава Атону, благополучен, а в большой был опасности. Обнаглела бунтовская сволочь, – беда... Его высочество сейчас будет к тебе, велел приготовить ночлег.

- Сколько с ним человек?
- Тридцати не будет.
- Где же остальные?
- Кто разбежался, а кто к страженачальнику Маху отослан: государь наместник передал ему всю власть над городом.
- Так-так-так, – проговорил Хнум и покачал головой задумчиво: понял, что Тута бежал, как трус. – Маху – воин отважный, бунтовщикам потаки не даст. Надолго ли, Бог весть, а сейчас город спасен... Ну, пойдем, сын мой. Счастлив буду принять его высочество.

Хнум встал и пошел. Все – за ним.

Дио и Зенра спустились во второй ярус дома, где была Диана горница. Вошли в нее. Дио начала раздеваться. Дрожала так, что зуб на зуб не попадал. Всю ее пронизывал насквозь тот же холод, как давеча.

- Что ты дрожишь? – спросила Зенра. Дио ничего не ответила и легла на ложе. Зенра укрыла ее потеплее, поцеловала и хотела выйти, но Дио взяла ее за руку.
- А знаешь, няня, Пентаур убит, – сказала тихо, как будто спокойно.
- Ноги у старушки подкосились. Присела на край ложа, чтоб не упасть.
- Господи, Господи, – прошептала с тем удивлением, которое всегда рождает в людях внезапная смерть. – да как же, где, когда?
- Только что, в бунте у Амона храма.
- Ах, бедный! – заплакала Зенра. – Какой был человек хороший. А я-то думала...

Дио усмехнулась:

- Думала, жених? Да, хорош жених, да невеста плоха... Ну, ступай, не плачь, о нем не надо плакать, – хорошо умер, дай Бог всякому так!

Дио закрыла глаза, но, только что Зенра вышла, открыла их и посмотрела в глубину горницы, где лунный луч падал на высокую Амонову арфу с перекрещенными струнами и двумя, на подножье, радужными солнцами; золотые сердца их тусклоискрились в бледном луче. Это была та самая арфа, на которой давеча играл Пентаур тихие песни любви и смерти.

Набежало ли на месяц облако, или помутнело у Дио в глазах от слез, – вдруг показалось ей, что в косом полотнище лунного света на белой стене промелькнула чья-то тень. «Он!» – подумала она и вся насторожилась, как будто ждала, что струны зазвенят. Но молчали, и тень исчезла: ровный свет опять забелел на стене. Дио укрылась с головой одеялом и хотела уснуть, но не могла.

Вдруг послышалось ей, что струны звенят. Откинула с головы одеяло, привстала на ложе, прислушалась: звенят, звенят, поют:

Ныне мне смерть, как мицца сладчайшая,
Ныне мне смерть, как выздоровление,
Ныне мне смерть, как дождь освежающий,
Ныне мне смерть, как отчизна изгнанника!
Снова чья-то тень мелькнула на стене. Ужас напал на нее. Но знакомая боль неискупимой вины, неутолимой жалости была сильнее ужаса. О, хотя бы только тень его увидеть, только тени сказать: «Прости!».

Встала с ложа, подошла к арфе. Струны продолжали звенеть тихо-тихо, но внятно. Что-то живое трепетало внизу. Дио опустила глаза и увидела: в сетке перекрещенных струн запуталась летучая мышь и билась о них.

Дио горько усмехнулась, пожалела давешнего ужаса. Глуше глухая стена смерти встала между ними, дальше ушел мертвый в смерть, как будто умер снова.

Бережно освободила она пленницу, поцеловала в головку, встала на стул и выпустила ее в длинное и узкое, как щель, окно под самым потолком.

Вернулась к ложу, легла и тотчас уснула тем мертвым сном, каким люди спят от печали.

– Ну-ка, доченька, вставай, ехать пора! – услышала над собою голос Зенры.

– Ехать? Куда? – пролепетала, еще не открывая глаз.

– В Город Солнца. Тута едет сегодня, и мы с ним. Да ну же, проснись, вот заспалась!

Дио открыла глаза. Темное утро чуть брезжило в окнах: солнце еще вставало. Но всю ее озарила внезапная радость, как солнце: «Ахенатон – Радость-Солнца!» Казалось, только теперь она поняла, что это значит.

Быстро оделась и взбежала на крышу.

Зимнее утро было туманно-тихо, и в тишине его как будто слышалось, что кончен бунт, земля не перевернулась вверх дном, крепко стоит и долго еще будет стоять. Все как всегда: так же под черно-пушистым кедром, в саду, воркуют две белых горлинки, так же доносятся издали, по воде канала, утренние звуки, слегка заглушенные туманом: крик осла, скрип водоподъемных колес, стук прачечных вальков и протяжно-унылая песенка:

Портомой, на плотине стирающий,
добрый сосед крокодила плывущего...
Так же в утренней свежести пахнет горьким дымком кизяка, точно осеннею гарью на полях родного севера.

Вдруг сквозь холодную белизну тумана засквозила теплая розовость, как небесная радость сквозь земную грусть. «Небо с землей соединяется; на земле радость небесная», – вспомнила Дио слова Озирисова таинства.

– Радость-Солнца, Радость-Солнца – Ахенатон! – повторяла она, плача и смеясь от радости.

Зенра окликнула ее, заторопила. Дио сбежала вниз проститься с Хnumом и Нибитуйей. Хnum благословил ее, и добрая старушка Нибитуйя, обняв ее, заплакала: полюбила, как родную дочь.

Сели в лодку, спустились по Большому каналу в Ризитскую пристань, где ждал наместничий корабль. Тута уже был на нем: выехал до света.

Корабль был двухмачтовый: паруса – тканые, с шашечным узором, широко раскинутые, подобно крыльям сокола; на носу – голова газели, круглогорая; на корме – огромный лотос; руль – цветочный куст; рукоять его – голова царя в высокой тиаре; палубная рубка – резная, из акацийного дерева, в два яруса, – маленький чертог, великолепно расписанный и раззолоченный, с кровельной решеткой из царских взвившихся змей; всюду разноцветные флаги. Весь корабль – живое чудо, злато-пурпурно-бирюзовое, – полупутица, полуцветок.

Подняли якорь, отчалили. Солнце встало, туман рассеялся. Свежий ветер, сквозняк из горных ущелий, надул паруса; гребцы ударили в весла, и корабль понесся вниз по реке.

Тута весь день не выходил из рубки; у него болели зубы и щека распухла. Кошка Руру тоже ходила с подвязанной лапой: камнем зашибли ее во время бунта. А когда, наконец, к вечеру, Тута вышел, то имел такой смущенный вид, что Дио подумала: «Точно ошпаренный кот!»

Шутники при дворе сложили впоследствии песенку об этом унылом плаванье:

Бедный Тута
Стонет в рубке,
Щечка вздуга,
Ноют зубки.
Грелся Тута в эту ночку
На Чарукском огоньке

И распаренную щечку
Застудил на сквозняке.

«Ну что ж, раз не удалось, в другой раз удастся, – думала Дио. – Будешь, будешь, кот, мышиным царем!»

Город Солнца, Ахетатон, новая столица Египта, находился в Заячьем уделе, на полпути между Мемфисом и Фивами, в четырехстах атэрах к северу от Фив.

Плыли только днем, останавливаясь на ночь в пристанях: ночное плаванье было опасно из-за множества мелей и омутов. Русло Нила постоянно менялось, особенно во время зимнего мелководья. Кормчий, стоя на носу корабля, все время ощупывал дно шестом.

Миновали большую торговую гавань Копт, откуда шел караванный путь через пустыню к Черному морю; город Дэндеру с великим храмом Изиды-Гатор; город Абт, где погребено тело бога-человека Озириса, и древнейший город Тинис, столицу первого царя Египта, Мэна.

Но города были редки; большую частью попадались бедные селенья с лачугами из сущеного нильского ила. Однообразно, тихо и просто тянулись по обоим берегам две полосы, желтая – мертвых песков, и черная – плодородной земли: Чернозем – Кемэт – было название самого Египта. Чернота нильского ила, влажно-блестящая, как живой «Изидин зрачок», и желтизна пустыни – жизнь и смерть рядом, в вечном союзе, в вечной тишине.

Была зима – сев. Люди пахали, двоили, боронили, сеяли. Медленно влакились волы, взрывая плугами жирные борозды. Кое-где зеленели уже первые всходы ярко-весеннюю зеленью. И далеко разносилась, в молчании полей, заунывная песня пахаря.

Мутно-белые воды Нила то быстро текли, стесненные стенами скал, то расширялись, как тихие воды пруда, в плавни и заводы с непроходимыми чащами папирусов и зелеными коврами плавучих лотосных листьев; только вылезавшие на берег гиппопотамы да спускавшиеся к водопою львы и леопарды прорезали узкими тропами эти чащи.

Длинноногий ибис шагал по влажному илу, мерил землю, как мудрый бог Тот, Землемер. Крокодилы на песчаных косах валялись осклильными бревнами, и птица бэну, род цапли, расхаживая по спинам их, клевала с них водяных блох или, бесстрашно засунув голову в открытую пасть чудовища, чистила ему зубы.

Когда же падали сумерки, долго еще в вышине пламенела красно-желтая охра скал и чернели на багровом закате девиче-стройные облики пальм и угольно-черные конусы житниц.

Тихи были и ночи, как дни; только лающим воем выли шакалы в пустыне да бычым ревом ревели на почти ослепительно-яркий месяц, ночное солнце, гиппопотамы в папирусных чащах.

А утром солнце дневное всходило, опять лучезарное. И так же однообразно тянулись вдоль берегов две полосы – желтая и черная; так же медленно влакились волы, взрывая плугами борозды; также заунывно, в молчании полей, разносилась песня пахаря.

И тихо-тихо, всё, как в лице того бога, чье имя «Тихое Сердце».

Вечером на пятый день, миновав скалистое ущелье, как бы крепостные, тесные и темные ворота, корабль вошел вдруг на залитый солнцем простор. Одни ворота – на юге, другие – на севере, а между ними – отовсюду огражденная зубчатыми, тоже как бы крепостными, стенами гор великая равнина, разделенная Нилом надвое: заливные луга до аметистово-розовых, в вечернем свете таявших, ливийских гор – на западе, а на востоке – полукруг каменисто-песчаной пустыни, отлого подымавшейся к выжженным скалам Аравийских гор. Здесь, между рекой и пустыней, тянулась длинной, узкой полоской зелень пальмовых рощ и садов. В ней, как игральные кости, рассыпались белые домики, и над ними возвышался, тоже весь белый, исполинский храм.

«Город Солнца! Город Солнца!» – тотчас же узнала Дио и подумала с радостным ужасом: «Он здесь!»

И опять, как тогда, над мертвым телом Пентаура, в слове «он» был для нее смысл двойной: он – царь, и Он – Сын.

Вторая часть. Кто он?

I

«Я, Ахенатон Уаэнра, Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный, так говорю: здесь построю город, во имя Атона, отца моего, ибо никто, как он, привел меня в Ахетатон, удел свой вечный; никто из людей не сказал мне: „Построй здесь город“, – но это сказал мне Отец мой небесный. Ни богу, ни богине, ни царю, ни царице не принадлежит эта земля, но единому Атону, отцу моему. Да процветет же град божий, как солнце цветет в небесах. Вот подзываю руку мою и клянусь: не переступит нога моя за рубеж удела сего, его же оградил Атон горами своими, и возжелал, и возлюбил на веки веков».

Надпись эта была вырублена в круче скал, к северу, югу, востоку и западу от города, на четырнадцати плитах – пограничных камнях, обозначавших Атонов удел, царство божье на земле. Их было четырнадцать, по числу частей растресканного тела Озириса, Великой Жертвы, ибо сам царь Ахенатон был второй Озирис.

В четвертый год царствования покинул он древнюю столицу Египта, Нут-Амон, Фивы, и основал новую.

Город строился с такою поспешностью, что едва возведенные зданья уже давали трещины; их кое-как замазывали глиною и продолжали строить. Опытные зодчие, помня мудрость отцов: «наспех – на смех», – только качали головами. Царская казна истощалась; тратились несметные сокровища из ограбленных Амонаевых храмов; со всех концов Египта сгонялись десятки тысяч работников; строили даже по ночам, при свете факелов. И чудо совершилось: в десять лет вырос новый город в пустыне: так розовый лотос, некхэб, расцветая за ночь, выходит из-под воды утром; так волшебное марево встает над мреющим зноем песков; но отхлынет вода – лотос увянет; ветер дохнет – рассеется марево.

Дио приехала в Ахетатон за пять дней до великого праздника – двенадцатилетней годовщины с основания города, совпадавшей с днем рождества Атонова, зимним солнцеворотом, когда воскресает – рождается «малое солнце», бог-младенец, Озирис-Соккарис. В первый раз она должна была плясать перед царем на этом празднике.

Тута хотел ее представить ко двору тотчас по приезде; но она не захотела, и он уступил: уступал ей во всем, ухаживал за ней; видимо, ставил на нее большую ставку в большой игре; торговал «жемчужиной Царства Морей», как ловкий купец.

От неудач своих в Нут-Амонском бунте он скоро утешился. Еще в пути получил добрые вести. Друзья при дворе для него постарались: дело с бунтовщиками представили так, что слабость его оказалась благостью, трусость – миролюбием; с поля битвы бежал, будто бы помня, что «мир лучше войны».

Пять дней до праздника Дио провела в Тутиной усадьбе, на Мерировой улице, близ Атонова храма, готовясь к пляске. Днем не выходила из дома, ото всех пряталась, а ночью подымалась на плоскую крышу храма, где должна была плясать. Здесь училась сама и учила других.

Поздно вечером, накануне праздника, она сидела одна в только что отделанной палате Тутина летнего дома; в зимнем – жил он сам со своей супругой, царскою дочерью Анкзэмбатоню – Анки. Из соседней половины, еще недостроенной, где днем работали каменщики, плотники, маляры и штукатуры, пахло свежею известью и краскою. Тем же запахом нового дома, казалось ей, пахло по всему городу.

Красные, с зелеными венцами пальмовых листьев, столбы поддерживали небесно-голубого цвета потолок. Нежная роспись шла по белой стене: водяные тонкие, как волосы, травы и порхавшие над ними желтые бабочки.

В забранные каменной решеткой узкие и длинные окна-щели под самым потолком веяла свежесть зимнего вечера. Сидя на низком ложе, кирпичном помосте, устланном коврами и обложенном подушками, Дио куталась в критскую шубу, волчий мех, и грелась у очага, глиняного блюда с жаром углей.

«Завтра увижу его», – думала со страхом. В первый же день по приезде начала бояться; чем дальше, тем больше; и вот, в эту последнюю ночь перед свиданьем, напал на нее такой страх, что, казалось, бежала бы, если бы дала себе волю. В жар и холод кидала ее мысль о том, как завтра будет плясать перед царем. «Руки-ноги отнимутся; споткнусь, растянусь, осрамлю бедного Туту!» – смеялась она, как будто нарочно растревяла смехом страх.

В глубине палаты две лампады теплились в двух впадинах стены, часовенках, с плоскими, на алебастровых плитах, изваяниями, налево – царя, а направо – царицы. Между ними, в простенке, бирюзово-голубые, по золотисто-желтому полю, столбы иероглифов славили бога Атона.

Дио встала, подошла к левой впадине и заглянула внутрь, на изваянье царя. Стоя у жертвенника, подымал он два круглых жертвенных хлебца, по одному – на каждой ладони, к лучезарному кругу Солнца. Высочайшая, острыя, как веретено, царская шапка-тиара казалась слишком тяжелою для маленькой детской головки на тонкой, как стебель цветка, гнувшейся шее. Детское лицо было неправильно: слишком вперед выступающий рот, слишком назад откинутый лоб. Прелесть обнаженного тела напоминала только что расцветший и уже от зноя никнувший цветок:

Ты – цветок, чьи корни из земли исторгнуты;
Ты – росток, текучей водой не взлелейный! –
вспомнила Дио плач о боге Таммузе умершем.

Шейка, плечики, ручки, икры, щиколки ног – узкие, тонкие, как у десятилетнего мальчика, а бедра – слишком широкие, точно женские; слишком полная грудь, с почти женским сосцом: ни он, ни она – он и она вместе, – чудо божественной прелести.

На горе Диктейской, на острове Крите, слышала Дио древнее сказанье: Муж и Жена были вначале одно тело с двумя лицами; но рассек Господь тело их и каждому дал хребет: «Так режут волосом яйца, когда солят их впрок», – прибавляла, странно и жутко смеясь, старая мать Акаккала, пророчица, шептавшая на ухо Дио это сказанье.

«Режущий волос по телу его, должно быть, прошел не совсем», – думала она, глядя на изваянье царя, и вспомнила пророчество: «Царство божье наступит тогда, когда два будут одно, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского».

Стала на колени и протянула руки к чуду божественной прелести.

– Брат мой, сестра моя, месяц двурогий, секира двуостряя, любимый, любимая!
– шептала молитвенным шепотом.

Вдруг ветер пахнул из окна; пламя лампады всколыхнулось; облик изваянья померк, и засквозило сквозь чудо чудовище – ни старик, ни дитя, ни мужчина, ни женщина; скопец-скопчиха, дряхлый выкидыш, Гэматоронское страшилище.

«Ступай же к Нему, соблазнителю, сыну погибели, дьяволу!» – прозвучал над нею голос Птамоза, и она закрыла лицо руками от ужаса.

В то же мгновенье почувствовала, что кто-то стоит за нею; обернулась и увидела незнакомую девочку.

Ткань, прозрачная, как льющаяся вода, обливала струйчатыми складками янтарно-смуглое тело. Верхняя одежда распахнулась спереди, и сквозь нижнюю – виднелись детские, под темною ямкою пупа, складочки кожи. На голове был огромный, глянцевито-черный парик из туго заплетенных и снизу, ровно, как ножницами, срезанных косичек. К темени прикреплена была благовонная шишка – опрокинутая вверх дном тальковая чашечка, наполненная мастью кэми из семи благовоний – «царским помазаньем». Медленно тая от теплоты тела, стекала она душистой росой на волосы, лицо и одежду. Длинный стебель розового лотоса прорезал сквозь отверстие чашечки так, что полураскрывшийся цветок его, со сладостно-анисовым запахом, свешивался на лоб.

Девочке было лет двенадцать. Детское лицо прелестно, хотя неправильно: слишком вперед выступающий рот, слишком назад откинутый лоб; чуть-чуть косящий взгляд огромных, с удлиненным разрезом, глаз был тягостен: такой

взгляд бывает у людей, страдающих падучей. То ребенок, то женщина; жуткая прелесть в этих двусмысленных сумерках детского-женского. Вся полураскрыта, как тот свесившийся на лоб ее, водяною свежестью дышащий розовый лотос, некхэб; на ночь закрывает он чашу свою, сокращает стебель и уходит под воду, а утром опять выходит, раскрывается, и вылетает из него златокрылый Жук, новорожденный бог Солнца, Гор.

Девочка появилась так внезапно, подобно призраку, что Дио смотрела на нее почти с испугом. Долго обе молчали.

– Дио? – спросила, наконец, гостья.

– Да. А ты кто?

Она ничего не ответила, только подняла левую бровь, дернула правым плечиком и опять спросила:

– Что ты тут делала? Молилася?

– Нет, так, просто... смотрела на изваянье.

– А зачем же стояла на коленях?

Дио покраснела, как будто застыдилась. Девочка опять подняла бровь и дернула плечиком.

– Не хочешь сказать? Ну, не надо.

Подошла к ложу и взяла с него газелью шкуру, которую скинула давеча, войдя в палату.

– Холодно у тебя тут, сыро. Жара в очаге не умеешь держать, – сказала, кутаясь. – Что ж, так и будем молчать? Мне с тобой говорить надо.

Села на ложе по-египетски, охватив руками колени и положив на них подбородок. Дио села рядом с нею.

– Все еще не знаешь, кто я? – спросила девочка, уставившись на нее своим тяжелым взглядом.

– Не знаю.

– Его жена.

– Чья?

– Да ты что, нарочно, что ли?

– Царевна? – вдруг догадалась Дио.

– Слава Богу, наконец-то! – проговорила гостья. – Что ж ты сидишь, глазами хлопаешь?

– А что?

– Как что? Царская дочь, кровь Солнца, а ты и головой не кивнешь!

Дио улыбнулась и тут же, на ложе, стала перед ней на колени, как взрослые стоят перед детьми, когда их ласкают.

– Радуйся, царевна Анкзембатона, гостья моя дорогая, желанная! – проговорила от всего сердца и хотела поцеловать у нее ручку, но та ее быстро отдернула.

– Ну вот, теперь лезет к руке! Разве так царям кланяются?

– А как же?

– В ноги, в ноги! Ну да ладно, мне твоих поклонов не нужно, садись... Нет, стой, погоди!

– Ну-ка, повернись к свету, вот так...

Дио повернулась лицом к стоявшей на полу, рядом с ложем, лампаде, цветочной чаше папируса из голубого стекла, на высоком алебастровом стебле. Анки приблизила лицо к лицу ее и, деловито наморщив лоб, начала ее разглядывать молча, пристально.

– Да, хороша, очень, – прошептала наконец, как будто про себя. – Румяна у тебя какие?

– Я не румянюсь.

– Ну-у!

Помочила на языке мизинец и, подняв его к лицу ее, спросила:

– Можно попробовать?

– Можно.

Анки тихонько провела по щеке ее пальчиком и посмотрела на кончик его, не покраснел ли. Нет, не покраснел.

– Чудеса! – удивилась она. – Сколько тебе лет?

– Двадцать.

– Как же такая молодая?

– А разве двадцать лет старость?

– По-нашему, да. В десять лет у нас выходят замуж, а в тридцать бабушки. Ну, да впрочем, у вас там, на севере, все по-другому: солнце старит, холод молодит, – повторила она с удовольствием, видимо, чужие слова.

Села по-прежнему, охватив колени руками, задумалась.

– Что ты смеешься? – спросила, опять глядя на нее в упор своим тяжелым взглядом.

– Я не смеюсь, а радуюсь, – ответила Дио.

– Чему?

– Не знаю. Так, просто, что ты пришла.

– У тебя все просто... Ты думаешь, я маленькая?... Что он тебе обо мне говорил?

Дио поняла, что «он» – Тута.

– Говорил, что ты умница, красавица и что он тебя любит больше всего на свете.

– Вздор! Это ты из любезности... Оба, должно быть, надо мной смеялись. Говорил, что я в куклы играю?

– Нет, не говорил.

– А вот и играю! Прошлым летом играла, и еще буду, если понравится. Мне все равно, что смеются. Царь говорит: «Маленькие лучше больших; мудрее, – больше знают. Вечность, говорит, дитя, играющее... играющее...»

Забыла, во что играет Вечность; покраснела.

– Ах, чтоб тебя, окаянный! Опять нашерстил, нагрел голову!

Сорвала с головы и отшвырнула парик. Тальковая чашечка звякнула об стену; стебель цветка сломался, и цветок повис жалобно.

– думаешь, я для тебя нарядилась? Как бы не так! Во дворец иду, на вечерю...

Под париком обнажилась бритая голова с таким удлиненным, тыквоподобным черепом, что Дио чуть не вскрикнула от удивления. Длинная форма голов у египетских девушки считалась особенной прелестью. Из Митаннийского царства, полуночной земли в верховьях Ефрата, откуда была родом Тэяя, мать Ахенатона, занесен был в Египет странный обычай вкладывать в лубки головы новорожденных детей, чтобы удлинять черепа. Все царские дочери были длинноголовыми. У знатных женщин, а потом и у мужчин тоже вдруг черепа удлинились: из тончайшей антилопьей кожи изготавливались головные накладки, «царские тыковки».

Может быть, царевна Анки нарочно скинула парик, чтобы похвастаться перед Дио: «У тебя, мол, румянец, а у меня царская тыковка!»

– А что, правда, говорят, ты колдунья? – спросила вдруг.

– Нет, не правда.

– За что же тебя сжечь хотели? Дио молчала.

– Опять не хочешь сказать?

– Не хочу.

– Бога Быка убила, Мреура вашего, Аписа?

Апис был Мемфисский, а Мреура – Гелиопольский бык, воплощенный бог Солнца.

– Был и у нас Мреура, – продолжала Анки, не дождавшись ответа. – В позапрошлом году умер. Я его очень любила. Старенький, слепенький. В стойло, бывало, зайду, обниму, целую в морду, а он меня языком лижет в лицо, мычит на ухо, как будто сказать что-то хочет... И такого убить, Господи! Все равно что ребенка...

Помолчала, поглядела на нее исподлобья и вдруг объявила:

– А во дворце вощенку нашли.

– Какую вощенку?

– Восковую куколку, заговоренную; сердце иголкой проколото; чье на вощенке имя, тот умирает. Имя царя было на ней: в царской спальне нашли...

Еще помолчала и спросила:

– Сколько дней, как приехала?

– Пять.

– А вощенку третьего дня нашли.

– Ну так что же?

– Ничего. Языки у людей незавязанные, мало ли что говорят... А ты что все дома сидишь, только по ночам выходишь, прячешься?

Злой огонек блеснул в глазах ее, губы задрожали, лицо искривилось, и, глядя на Дио в упор, спросила она задыхающимся шепотом:

– Ты его наложница?

– Чья?

– Тутина.

Дио всплеснула руками:

– Ох, царевна милая, какой вздор!

– Почему вздор?

– Потому что я ничьей наложницей быть не могу: жрицы Матери – вечные девы. И потом, у каждого свой вкус. Его высочество... Можно правду сказать, не рассердишься?

– Говори.

– Его высочество очень хорош, но мне совсем не нравится!

Анки посмотрела на нее, глубоко вздохнула, как человек, у которого внезапно прошла сильная боль, и прошептала:

– Правда?

– Ну, посмотри мне в глаза, разве не видишь, что правда?

Анки заглянула ей прямо в глаза; потом отвернулась, закрыла лицо руками, и вдруг худенькие плечики ее задергались, все тело затряслось от неслышных рыданий.

Дио подсела к ней, обняла ее и прижала к себе длинную, бритую головку, «царскую тыковку».

– Не веришь?

– Нет, верю. Я ведь давеча знала, что все вздор – и колдунья, и вощанка. Я все нарочно...

– Так о чем же ты плачешь?

– О себе, о себе, что такая злая, подлая! Я тебя как увидела давеча, сразу полюбила и разозлилась. Я всегда, кого люблю, злюсь на того... Ох, да ведь ты еще всего не знаешь! Я карлика Иагу, – старый слуга, верный пес, любит меня, как душу свою, – я его подговорила, чтобы тебя убил, если правда, что ты Тутина наложница. Я бы и его и себя убила, – вот я какая! Как бес в меня войдет, все могу сделать...

Опять заплакала.

– Ну, полно же, полно, девочка моя хорошая, солнышко мое ясное! – шептала Дио, гладя ее по голове, и вдруг вспомнила, что так же, с теми же почти словами, ласкала Эойю. – Все прошло, кончено! Будем любить друг друга, хочешь?

Анки ничего не ответила, только прижалась к ней крепче. Дио молча поцеловала ее в губы и сама заплакала от радости.

Радость, как солнце, вставала в душе ее, и таял в ней давешний страх, как тень в солнце.

«Милая, милая девочка, – думала она, – это он сам, Ахенатон, Радость-Солнца, послал тебя ко мне вестницей радости!»

II

Радость возвестила людям, в безмолвии ночи, труба. Одна, другая, третья, и десятки, и сотни труб трубили Атонову песнь:

Чудно явленье твое на востоке,
Жизненачальник Атон.

Посылаешь лучи твои, – мрак бежит,
И радостью радуется вся земля!

Трубы трубили во всех концах города, отзываясь в горах многоголосыми гулами. Как петухи перекликаются, ночью солнце поют, так и эти трубы в тот предутренний час, когда сон людей смерти подобен, как пелось в Атоновой песне:

Люди лежат во тьме, точно мертвые:
Очи закрыты, головы закутаны;
Из-под голов у них крадут – не слышат во сне;
Всякий лев выходит из логова,

Из норы выползает всякая гадина;
Воздремал Творец, и безглагольна тварь.
Но спящих будила труба, как некогда Господень зов разбудит мертвых. Старики
и дети, рабы и свободные, бедные и богатые, чужеземцы и египтяне – все
бежали навстречу грядущему солнцу, богу Атону.

Дио проснулась от звука трубы в маленькой часовне Атонова храма, где спала
в эту ночь, с хором певиц, игральщиц и плясуний, которые должны были
сопровождать ее в пляске перед царем.

– Трубы трубят, трубы трубят! Вставайте, девушки! Солнце рождается,
радуйтесь! – услышала она говор проснувшихся.

обнимались, целовались, поздравляли друг друга с новым солнцем – новою
радостью.

Взбежали на плоскую крышу храма.

Ночь была теплая; ветер с юга подул после полуночи, и вдруг потеплело.
Белые, круглые, большие облака плыли по небу, как паруса. Мутно-пушистые
звезды мигали, как задуваемые ветром огни, и ущербный, выщербленный месяц,
желтый, как латунь, падал, опрокинувшись, на черные зубцы Ливийских гор.

Небо, воды, земля, злаки, звери – все еще спало; только люди проснулись.
Город внизу кишел как муравейник. В окнах домов зажигались огни, плошки
дымились на кровлях, факелы рдели на улицах, и темные толпы текли по ним,
как темные воды. Слышался гул голосов, шелест шагов, топот копыт, грохот
колес, ржанье коней, воинский клич, и надо всем немолчные зовы труб –
Атонова песнь:

Чудно явленье твое на востоке,
Жизненачальник Атон.

Посылаешь лучи твои, – мрак бежит,
И радостью радуется вся земля!

– Вон, вон, царское шествие! Ну-ка, девушки, вниз, оттуда виднее! –
закричала одна из глядевших с крыши Атонова храма, и все сбежали, слетели,
как стая горлинок, на плоскую крышу ворот, ближайших к той улице, где
проходило шествие.

– Царь идет! Царь идет! Ниц! Ниц! Ниц! – возглашали скороходы-вестники,
сгибая голые спины, шагая в ногу и разгоняя жезлами толпу.

Впереди шли царские телохранительницы, амазонки хеттеянки, желтолицые,
узкоглазые, широкоскульные, плоскогрудые, с чубами на бритых головах, с
медными двуострыми секирами в руках, святым оружием девы-Матери.

Потом – царедворцы: судьи, советники, военачальники, казначеи, писцы,
жрецы, пророки, книжники, хлебодары, виночерпии, конюши, ризничие,
постельничие, брадобреи, портомои, белильщики, мироварники, и прочие, и
прочие; все – в белых одеждах, в остроконечных туго накрахмаленных
передниках; у всех – яйцевидно удлиниенные накладками, бритые головы,
«царские тыковки».

Потом – кадилоносцы, обильно возжигавшие куренья; дым их возносился белым,
розовеющим в свете факелов облаком, и опахалоносцы, махавшие многоцветными,
на длинных древках опахалами из страусовых перьев и живых цветов.

И наконец, двадцать четыре эфиопских отрока, черных, голых, только в
коротких передниках из попугайных перьев, с продетыми сквозь ноздри
золотыми кольцами, несли на плечах высокий, из слоновой кости, обитый
листовым червонным золотом, поконившийся на львах, царский престол.

Дио ясно увидела леопардовую шкуру на узеньких, как бы детских, плечиках;
очень простую, белую, длинную одежду-рубаху из такого прозрачного льна –
«тканого воздуха», что сквозь нее сквозили на смуглых, худеньких, тоже как
бы детских, ручках, немного повыше локтей, пестрые наколы – иероглифы
Атонова имени; божеский посох в одной руке, бич – в другой; на голове –
царский шлем-тиара – хеперэш, грушевидная, из бледного чама –
серебро-золота, вся в лапис-лазуревых звездах-шишечках, с золотою, на челе,
сившейся солнечной змейкой, утой.

Все это увидела она, но на лицо не посмела взглянуть. «Ужо взгляну, когда буду плясать», – подумала и побежала наверх, на крышу Атонова храма.

– Ниц! Ниц! Ниц! Царь идет! Бог идет! – кричали скороходы-глашатаи, и люди падали ниц.

Шествие вступило во врата Атонова храма.

Храм Солнца, Дом Радости, состоял из семи многостолпных дворов с башенными вратами – пилонами, боковыми часовнями и тремястами шестьюдесятью пятью жертвенниками. Семь дворов – семь храмов семи народов, ибо, как сказано в Атоновой песне:

Все племена пленил ты в свой плен,
Заключил в узы любви.

Некогда «людьми», ромэт, были для египтян только сами они; все же остальные народы – «не-людьми»; а теперь все – братья, сыны единого Отца Небесного, Атона. Храм Солнца был храмом рода человеческого.

Семь дворов – семь храмов: первый – Таммуза вавилонского, второй – Аттиса хеттейского, третий – Адона ханаанского, четвертый – Адуна критского, пятый – Митры митаннийского, шестой – Эшмуна финикийского, седьмой – Загрея фракийского. Все эти боги-люди, страдавшие, умершие и воскресшие, были только тени единого солнца грядущего – Сына.

Семь открытых храмов вели к восьмому, сокровенному, куда никто никогда не входил, кроме царя и первосвященника. Там взносились, в вечном сумраке, шестнадцать Озирисов-великанов, алебастровых, бледных, как призраки, в тугу натянутых мумийных саванах, в божеских тиарах, с божескими посохами и бичами в руках, – все на одно лицо – царя Ахенатона.

Миновав семь открытых храмов, шествие подошло к восьмому, закрытому. Царь вошел в него один, и, пока молился внутри, все ожидали у врат; когда же вышел, поднялись по наружной лестнице на плоскую крышу верхнего храма: верхний стоял на крыше нижнего.

Здесь возвышался великий жертвенник Солнца в виде усеченной пирамиды из желтоватых, как сливки, нежных, как девичье тело, известняковых глыб, с двумя, по бокам, отлогими, без ступеней, всходами. На верху пирамиды, на высоком помосте, горел неугасимый жертвенник, и тускло рдел над ним, на алебастровом столбике, зеркально-гладкий, из бледного чама – серебро-золота, солнечный круг Атона – высшая точка всего исполнинского зданья. Первый и последний луч солнца всегда отражался на нем.

Царь, царица, царевны и царевич-наследник – только те, в чьих жилах текла кровь Солнца, – взошли на верх пирамиды, а на помост неугасимого жертвенника – только царь.

Люди кишили внизу на семи дворах, вверху, на пилонах, лестницах, крышах обоих святилищ: как бы возносилась живая гора людей, и высшая точка ее был один человек – царь.

– Славить иду лучи твои, живой Атон, единый вечный Бог! – возгласил он, протягивая руки к солнцу.

– Хвала тебе, живой Атон, небеса сотворивший и тайны небес! – ответил великий жрец Мерира, стоявший внизу, у подножья пирамиды. – Ты – в небесах, а на земле – твой сын возлюбленный, Ахенатон!

– Всем вам, роды пришедшие, роды грядущие, возвещаю путь жизни, – опять возгласил царь. – Богу Атону воздайте хвалу, Богу живому, и живы будете! Соберитесь и придите, все спасенные народы, обратитесь к Господу, все концы земли, ибо Атон есть Бог, и нет другого, кроме Него!

– Бог Атон есть Бог единый, и нет другого, кроме Него! – ответили несметные толпы внизу тысячеголосым гулом, подобным гулу волн морских.

Месяц зашел, звезды потухали. Ветер затих, облака рассеялись. Небо чуть-чуть посерело. Вдруг в этой утренней серости вспыхнул исполнинский луч, пирамидоподобный, с основанием на земле, с острием в зените, и затрепетали, заполыхали в нем опалово-белые трепеты, сполохи – Свет Зодиака, предтеча

Царь с супругой, дочерьми и наследником, сойдя с пирамидного жертвенника, вошли в стоявшую у восточной стороны его, узорчато расписанную и раззолоченную скинию.

Зазвучали флейты, зазвенели систры; послышалось тихое пенье, и медленное шествие жриц взошло по наружной лестнице на плоскую крышу храма, неся на плечах гроб. В гробу лежал закутанный в белый саван мертвей. Жрицы поставили гроб на темно-пурпурный ковер перед скинией.

Две плакальщицы стали, одна – в головах, другая – в ногах мертвца, и запели, заплакали, перекликаясь, подобно двум богиням-сестрам, Изиде и Нефтиде, над гробом Озириса, брата своего. А остальные, голые, только с узким, пониже пупа, черным пояском и такою же повязкой стыда между ног, плясали исступленно-дикую, древнюю, колдовскую пляску Озириса-Баты, воскресшего бога, прорастающего колоса; стоя в ряд на одной ноге, подымали другую, все враз, опускали и опять подымали, всё выше и выше, так что, наконец, кончики ног вскидывались выше голов.

– Встань, встань, встань! О, Солнце солнц, о, Первенец из мертвых, встань!
– повторяли, тоже все враз, под звоны систров и визги флейт. Это значило: «также высоко, как вскинуты ноги, колос, рости, мертвый, вставай!»

А плакальщики плакали:

Приди к сестре твоей, приди, возлюбленный,
О, ты, чье сердце биться перестало!
Я – сестра твоя, на земле тебя любившая;
Никто не любил тебя больше, чем я!
Вдруг по телу мертвца прошло содроганье, как по телу куколки, в которой шевелится бабочка, – трепет, подобный тем небесным трепетам-сполохам, как будто в теле и в небе совершилось одно чудо.

Медленно развились пелены смертные; медленно поднялась рука к лицу, как у просыпающегося от глубокого сна; медленно согнулись колени, локти уперлись в гробовое днище, и тело начало подыматься.

– Встань! Встань! Встань! – заклинали, колдовали колдуны-плясуньи, вскидывая ноги выше голов.

Свет Зодиака потух в розовеющем небе. Рдяный уголь вспыхнул в мглистом ущельи Аравийских гор, и первый луч солнца блеснул на Атоновом круге.

В то же мгновенье мертвый встал, открыл глаза, улыбнулся, и в этой улыбке была вечная жизнь – солнце незакатное.

– Дио, плясунья, жемчужина Царства Морей! – послышался шепот в толпе царедворцев.

Жрицы-колдуны, кончив пляску, пали ниц. Систры и флейты умолкли, кроме одной, все еще плакавшей; так одинокая птица плачет в сумерках.

На ложе моем, ночью,
искала я того,
кого любит душа моя, –
искала и не нашла его...

Выйдя из гроба, плясунья пошла навстречу солнцу. Тихо-тихо, как бы сонно, начала пляску: все еще в теле ее была скованность, мертвенност. Но, по мере того как солнце всходило, пляска делалась быстрее, быстрее, стремительнее. Голова закидывалась, руки протягивались к солнцу: падали белые ткани на темно-пурпурный ковер, обнажая невинное тело, ни мужское, ни женское – мужское и женское вместе, – чудо божественной прелести. Солнце лобзало его, и вся она отдавалась ему, соединялась, смертная, с богом, как любящая с возлюбленным.

Положи меня, как печать, на сердце твое,
как перстень – на руку твою,
ибо крепка любовь, как смерть! –
плакала флейта.

Вдруг песнь оборвалась: плясунья упала навзничь, как мертвая. Одна из жриц подбежала к ней и покрыла ее белым саваном.

Легкий шорох шагов и голос, как будто знакомый, но никогда не слыханный, послышались Дио. Она подняла голову и увидела царя лицом к лицу. Он что-то говорил ей, но она не понимала, что. Жадно смотрела в лицо его, как будто узнавала после долгой разлуки: может быть, так узнают друг друга на том свете любящие.

Вспомнила свой давешний страх и удивилась, как не страшно. Простое-простое лицо, как у всех; лицо сына человеческого, брата человеческого, тихое-тихое, как у бога, чье имя: «Тихое Сердце».

- Очень устала? – спросил он, должно быть, уже не в первый раз.
- Нет, не очень.
- Как хорошо плясала! У нас так не умеют. Это ваша критская пляска?
- Наша и ваша вместе.

Он тоже вглядывался в нее, как будто узнавал.

- Где я тебя видел?
- Нигде, государь.
- Странно. Все кажется, что где-то видел...

Она сидела у ног его, а он стоял над нею, нагнувшись. Обоим было неловко. Белый саван падал с голого тела ее; она старалась его натянуть, но он все падал. Вдруг покраснела, застыдилась.

– Холодно тебе? Ну-ка, ступай поскорей, одевайся, – сказал он и тоже покраснел. «Совсем как маленький мальчик!» – подумала она и вспомнила изваянье в Чарукском дворце – мальчика, похожего на девочку.

Он снял с руки своей перстень, надел ей на руку, еще ниже нагнулся, поцеловал ее в голову и, отойдя от нее, вернулся в царскую скинию.

- Клюнула рыбка, клюнула! – шепнул Туте на ухо стоявший рядом с ним в толпе царедворцев старый вельможа Айя, друг его и покровитель.
- Ты думаешь? – спросил Тута.
- Будь покоен: клюнула. Этакой парочки другой не сыскать: друг для друга созданы. Мужчина да женщина – крючочек да петелька – двое в любви, а здесь – четверо.
- Как четверо?
- Так; двое в нем, двое в ней; петелька – крючочек, крючочек – петелька: сцепятся – не расцепятся.
- Ты, Айя, премудр! – восхитился Тута.

III

Хор слепых певцов запел Атонову песнь. Нищие бродяги, ходили они по большим дорогам, из села в село, из города в город, питаясь подаяньем. Царь, однажды услышав их у врат Атонова храма, так пленился ими, что назначил им быть храмовыми певчими, да возносится Богу хвала не только от счастливых, мудрых и зрячих, но и от несчастных, темных, слепых.

Их было семеро. Перед царскою скинией стояли они в ряд, на коленях, голые, только в белых передниках, с телами, почерневшими от солнца, с руками и ногами иссохшими, тонкими, как палки, с видными сквозь кожу ребрами и животами вздутыми: головы бритые, лица сморщенные; складки около губ, как у больных, старых псов; носы курносые, тоже как у псов, нюхающие; узкие слепые щелки воспаленных глаз.

Запевало, сидя впереди, играл на высокой семиструнной арфе, а остальные, отбивая лад песни ладошами, пели голосами гнусавыми. Прямо на солнце смотрели слепыми глазами, но светлого бога Ра не видели, славили теплого бога Шу:

Шуенка Батюшка, Шуенка Матушка!
Плачучи, вытекли оченки;
Солнцу поем мы из ноченки.
Милостив будь к нам, слепеньким!
И, кончив унылый припев, запели радостную песнь:

Чудно явленье твое на востоке,
Жизненачальник Атон!
Посылаешь лучи твои, – мрак бежит,
И радостью радуется вся земля...
Солнце уже заливало крышу храма, но внизу, на семи дворах, была еще тень; только высокие чела пилонов позлатились; пестрые флаги мачт над ними трепетали в утреннем веянии радостным трепетом; радостным шелестом шелестели крылья белых голубей, и зимние ласточки резали воздух свистящим полетом, пели солнцу, кричали от радости: «Ра!»

Царь снова взошел на пирамидный жертвенник и бросил в огонь пригоршню ладана. Вспыхнувшее пламя побледнело в солнце; заклубился розово-белый дым, и на семи дворах, с трехсот шестидесяти пяти жертвенников поднялись такие же дымы: если бы кто-нибудь увидел их издали, то подумал бы, что в городе пожар.

Медленным движеньем подымая руки к небу, как бы вознося невидимую жертву, царь возгласил:

– Все, что ни есть в уделе сем, от Восходной Горы до Закатной, – земли, воды, села, злаки, звери, люди, – приносится в жертву тебе, Солнце живое, Атон, да будет царство твое на земле, как на небе, Отец!

Темная жатва человеческих голов склонилась, как жатва колосьев под ветром. Трубы, флейты, систры, лютни, гусли, арфы, тимпаны, кимвалы, киннары слились с тысячегортанным ревом толпы в один оглушающий хор:

– Пойте Господу новую песнь, пойте Господу, вся земля! Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь! да веселятся небеса и да торжествует земля! Радуйся, Радость-Солнца, Сын-Солнца- Единственный – Ахенатон Уаэнра!

Дио смотрела прямо в лицо царя и думала с такою радостью, как будто уже видела Сына: «Ближе к Нему, чем он, не был никто из сынов человеческих!»

Стража пускала в ограду перед царскою скинией только высших сановников. Но за оградой отведено было особое место для новообращенных – людей всякого звания и племени – Вавилонян, Хеттеян, Ханаанеян, Эгейян, Ливийцев, Миттанийцев, Фракийцев, Эфиоплян и даже Иадов, Пархатых.

Вдруг Дио увидела в этой толпе Иссахара, сына Хамуилова. Пристальным взором смотрел он прямо в лицо царя, и злая усмешка кривила губы его. Дио долго не могла оторваться от лица его: все хотела что-то вспомнить.

Хор умолк, и в наступившей тишине раздался голос царя:

– Господи, прежде сложения мира открыл Ты волю свою Сыну своему, вечно сущему. Ты, Отец, в сердце моем, и никто Тебя не знает, – знаю только я, Твой Сын!

«Проклят обманщик, сказавший: „я – Сын!“ – вдруг вспомнила Дио слова Иссахара в Гэматорнской часовне и, взглянув опять на царя, подумала с ужасом: „Кто это? Кто это? Кто это?“

IV

«В семидесяти душах пришли отцы наши в Египет, а ныне Господь умножил нас, как звезды небесные. И расплодились мы, и усилились чрезвычайно. И сказал царь Египта народу своему: „Вот народ сынов Израилевых, многочисленнее и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился; иначе, когда будет

война, соединится он с нашим неприятелем". И поставили над нами работоначальников, чтобы изнуряли нас тяжкими работами над глиной и кирпичами. И стенали мы от работы, и волю наш восшел к Богу. Мышцею крепкою и дланью простертою вывел нас Бог из Египта, из печи железной. Когда же, гонимые войском царя Египетского, подошли мы к Чермному морю, то простер вождь сынов Израилевых, Моисей, руку свою на море, и расступились воды; влага стала стеною, опустели пучины в сердце морей. И обратились воды на Египтян, и покрыло их море, и погрузились, как свинец, в великих водах».

Так говорили сыны Израилевы, а Египтяне смеялись над ними:

«Ничего этого не было: никогда никакой царь Египта не погибал в море, а вождь Иадов-Пархатых, называемый ими по-египетски Мозу-дитя, Сын, – вовсе не Сын Божий, как думают они, а сын раба, злой колдун, вор и убийца, бежавший в пустыню, к мадиамским кочевникам, потом вернувшийся тайно в Египет и сделавшийся вождем разбойничьей шайки Хабири – Хищников, тех же Иадов. В пограничных областях Египта то и дело бунтуют Хабири. Во дни царя Тутмоза четвертого произошел один из таких бунтов: шайка Хабири ушла в Синайскую пустыню и погибла там от жажды и голода вместе с Мозу – Моисеем, вождем своим».

Так ругались сыны Хамовы над сынами Израиля. Впрочем, не только египтяне, но и многие среди самих израильян – Моисей вывел из Египта лишь часть их – чудесам Исхода не верили и новому богу Иагве не поклонились.

«Что это за бог? – говорили они. – Мы его не знаем. Иагве, на языке мадиамском, значит Губитель. Это бог не Израиля, а Синайских кочевников, бес пустыни, огнь пождающий. Не для того ли и сын его, Моисей, выходя к народу, покрывал лицо свое, чтоб не узнали, на кого он похож? Когда же сам Иагве явился ему, подполз во мраке ночи несказанным страшилищем, чтобы умертвить его, жена Моисея, Сепфора, отрезав крайнюю плоть сына своего и кинув ее к ногам Губителя, сказала: „Ты – Жених крови у меня, Жених крови по обрезанию!“ И, напившись крови, Кровопийца отошел. Нет, не таковы боги отцов наших, Элогимы кроткие: Элиун, Отец, Эль-Шаддай, Сын, и Эль-Руах, Мать. Тот – буря, гнев, огнь пождающий, а эти трое – тихость, милость, свежесть росная».

И еще говорили:

«Не было Исхода – Исход будет; и Сына не было – Сын будет, по слову отца нашего Иакова: „Не отойдет скиптр от Иуды и вождь от чресл его, доколе не приидет Мессия“.

Хамуил, сын Авиноама, из колена Иудина, священник Эль-Шаддая, чтил старых богов, Элогимов, нового бога, Иагве, ненавидел и ждал Мессию.

Был мудр: врачевал больных, метал гадальные кости – терафимы, предсказывая Божьи суды в судьбах человеческих, и получал за это хорошую плату; торговал также, не без выгоды, хотя и тайком от царской таможни, галаадским бальзамом для умащения мертвых и ливийским врачебным злаком, сильфием. Так жил он в городе Бубастисе в устьи Нила, богами хранимый и людьми почитаемый.

Было у него два сына: старший, Элиав, от израильянки Фамари, и младший, Иссахар, от египтянки Асты.

Будучи однажды по торговым делам в городе Мендесе, увидел Хамуил в храме бога Козла девочку-жрицу, Асту, и так полюбил ее, что не пожалел ста золотых колец, цены тридцати воловых упряжек, чтобы устроить побег ее из храма: жрицы, нареченные супруги бога, не могли, под страхом смерти, выходить замуж ни за кого, а тем более за нечистых Иадов. Аста горячо полюбила своего второго, смертного, мужа, но не могла себе простить измены первому, бессмертному, и мучилась этим так, что немного помешалась в уме. Когда же родила сына, подумала, что зачала его от бога: жрицы верили, что бог Козел, огненно-рыжий Бинди, силы мужской богам и людям податель, Солнце-Ра во плоти, плотски соединяется со своими жрицами-женами. Маленькому Изу, – Из от Изеркер, так переделала Аста имя Иссахар по-египетски, – нашептывала она странные сказки, напевала странные песни о златошерстом, златогором Козле, пасущемся на лазурных пастбищах неба, а иногда сходящем и на землю, к прекрасным дочерям земли, своим возлюбленным.

Первая жена Хамуила, израильтянка фамарь лютою ненавистью возненавидела египтянку Асту и «бесова пащенка ее, сына Козла смердящего». Было что-то и вправду козлиное в лице Иссахара, в толстом горбатом носу, толстых губах, косом разрезе желтых глаз, и потом, когда он возмужал, в рыжих, висевших вдоль щек, длинных кудрях, в длинной, раздвоенной бороде и даже в хриповатом и тонком, как бы блеющем, голосе.

«Рыжим козлом» дразнили маленького Изя школьники. Рыжеволосых египтяне считали нечистыми, потому что Сэт, дьявол, рыж, как царство его, песчаная степь. Издали, завидев рыжего на улице, прохожие плевались и матери прятали детей, чтоб он их не слазил. «Плохо быть рыжим» – это мальчик узнал, только что начал помнить себя; но хорошо или плохо быть сыном бога Козла – этого не мог решить, даже когда вырос. Может быть, хорошо для Изеркера, египтянина, а для Иссахара, израильтянина, плохо; кто же он – Изеркер или Иссахар, он и сам не знал, и в этом была его вечная мука.

В первые годы царствования Аменхотепа Четвертого, будущего Ахенатона, когда пришли вести о победах Иешуйи – Иисуса Навина в Земле Обетованной, израильтяне, оставшиеся в Египте, взбунтовались. Бунт начался в городе Бубастисе. Элиава, сына Хамуилова, – ему было тогда двадцать пять лет, – видели с оружием в руках, во главе бунтовщиков. Бунт был подавлен. Элиав бежал, и вместо него схватили и посадили в тюрьму заложником брата его, Иссахара, нив чем не повинного. Аста обивала пороги судей, не жалея взяток. Взятки брали, но заложника держали крепко. Вдруг, по чьему-то доносу, схвачен был Элиав, скрывавшийся в болотных чащах Устья, а Иссахар выпущен.

Вскоре после того, выпив холодного пива в жаркий день, Аста внезапно скончалась, а через несколько дней две служанки в доме Хамуила поссорились, и одна донесла, что другая отравила госпожу свою. Когда же допросили обеих, оговоренная призналась, что отравила Асту по наущению Фамари. И та не заперлась, сказала мужу просто:

– Я убила Асту за то, что она донесла на Элиава. Убей и ты меня: кровь за кровь, душа за душу.

Так сказала она, потому что чтила лютого Иагве, Мстителя. Но Хамуил, священник Эль-Шаддая кроткого, помиловал ее, только велел ей покинуть дом его навсегда. В туже ночь Фамарь удавилась, и Хамуил недолго выжил, умер с горя. Умирая, завещал он сыну Иссахару ждать Мессию.

Осиротевший Иссахар переехал в Нут-Амон, Фивы, к деду своему по матери, жрецу Птаххотепу, хранителю книжных свитков в святилище Амана Фиванского, и здесь, приняв сан уаба – младшего жреца, сделался учеником Птамоза, Амона первого священника.

Когда начались гонения царя-отступника, многие ученики Птамоза, из страха или корысти, изменили учителю, но Иссахар остался ему верен.

Вечную муку его – необходимость и невозможность решить, что он – израильтянин или египтянин, утолил Птамоз, открыв ему тайны божественной мудрости. Чем больше постигал он ее, тем яснее видел, что бог-человек, Озирис растерзанный, и Тот, о Ком говорили пророки Израиля: «Душу Свою предал на смерть и за преступников сделался Ходатаем», – один и тот же Мессия.

V

После Фиванского бунта Иссахар приехал в Ахетатон – Город Солнца для свиданья с братом Элиавом и с порученцем от Птамоза, таким тайным и страшным, что не только ни с кем не говорил о нем, но и сам боялся думать.

В получасе ходьбы к востоку от города, на дне глубокой котловины, между скалами Аравийских предгорий, находился тюремный поселок израильтян, осужденных на работы в соседних каменоломнях Хат-Нуба. Египтяне называли его Селеньем Пархатых, а израильтяне – Шэолом – Адом.

Дней десять после рождества Атонова шел Иссахар на свиданье с братом в Шэол.

Семидесятилетний стариk, с тонким и сухим, в глубоких морщинах, смуглым
Страница 55

Мережковский Д. Мессия filosoff.org

лицом, с длинной белой бородой, похожий на Авраама, двоюродный дядя Иссахара, богатый купец из города Таниса Ахирам, сын Халева, шел рядом с ним. Узкою козьей тропинкой взирались они по западному склону одного из холмов над Шэолом.

Солнце заходило в красную мглу, как бы лужу запекшейся крови, и голые, желтые известняковые скалы, кое-где залитые волнами зыбучих песков, пламенели, как раскаленные докрасна.

– А что, племянничек, бунтовал, небось, и ты в Нут-Амоне? – спросил Ахирам.

– Я? Нет. Я человек смирный. Да нам и святой отец бунтовать не велит, – ответил Иссахар. Святым отцом называл он Птамоза.

Старик покачал головой недоверчиво:

– Врешь, ой, по глазам вижу, что врешь! Все вы, жрецы Амоновы, – бунтовщики... А только помни, сынок, бунтом ничего не возьмешь.

– А чем же? – спросил Иссахар.

Старик лукаво усмехнулся и погладил свою длинную белую бороду.

– А вот чем, слушай. Праотец наш, Авраам, как сошел от голода из Ханаана в Египет, сказал Сарре, жене своей: «Ты у меня красавица; скажи же египтянам, что ты – сестра моя, чтобы мне хорошо было через тебя». Так она и сделала, и взята была в дом фараона, и хорошо было Аврааму через нее: был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. А фараона поразил Господь за Сарру, жену Авраамову, лютыми казнями. Так-то, сынок. Благословен Израиль, народ, хранимый Господом! Он попирает вью врагов своих не бунтом, не силой, а мудростью, – заключил старик, и глаза его засветились плутовством Авраамовым.

Молодой орел поднялся со скалы, медленно взмыл, озаряемый снизу заходящим солнцем, серебристо-серой, царственный, и плавными кругами закружил, высматривая добычу в степи, сосунка антилопы или степного стрепета.

«Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к Себе», – вспомнил Иссахар слово Господне к Израилю. «Так и меня сейчас несет!» – подумал он. Вспомнил также, что говорил ему Птамоз, посылая в Город Солнца: «Будь тверд и мужественен, сын мой, ибо с тобою Господь: Он совершил за тебя!»

И дал ему нож, маленький, бронзовый, жертвенный, с головой бога Амона-Овна вместо рукояти: на что, не сказал, и он не спросил, – сам понял.

Вспомнив это, засунул руку под плащ, за широкий кожаный пояс и, нащупав в нем спрятанный нож, сжал рукоять нежно и крепко, как любящий – руку возлюбленной. «Ну что же, страшно? – подумал. – Нет, ничего не страшно с ним: Он за меня совершил. Несет, несет и принесет к Себе!»

Обернулся к Ахираму и сказал:

– Дядюшка, достань мне пропуск!

Все эти дни хотел это сказать, но не смел; сам еще за минуту не знал, что скажет.

– Какой пропуск?

– На завтрашний день, во дворец.

– Да что ты, сынок, ошелел, что ли? Где я тебе, на ночь глядя, пропуск буду доставать?

– Дядюшка, ты все можешь, у тебя везде ходы, лазейки. Достань же, миленький, достань! – умолял Иссахар так, как будто дело шло о спасении жизни его.

– А тебе на что? – спросил Ахирам, вглядываясь в него пристально.

– Чтобы видеть царя.

- Да ведь ты его уже видел.
- Плохо, издали. Завтра день прошений: всех подпускать будут к престолу. Близко увижу, лицом к лицу. Очень мне нравится. Радость-Солнца, Радость-Солнца, видеть его – радость! – говорил Иссахар умиленно, восторженно.
- Нет, не будет тебе пропуска, – сказал Ахирам, покачав головою решительно.
- Бог тебя знает, что у тебя на уме, еще беды с тобой наживешь!

Иссахар вынул мошну из-за пазухи, достал из нее большого, в полпальца, священного жука, Хэпера, из чудесной синайской лапис-лазури, и подал его Ахираму.

Тот жадно схватил его, взвесил на ладони и долго, тщательно разглядывал.

- Славненький камешек! – проговорил наконец, колеблясь между восхищением знатока и желаньем сбить цену товара. – Есть на брюшке подпалинка, муть будто кажется, прозелень, а ничего, недурен, даже очень. Из казны Амоновой, что ль? украл?
- Что ты, дядюшка, я не вор. Святой отец подарил.
- Ну-у! За что же! А впрочем, дураки на свете бывают всякие: дарят и ни за что... Сколько возьмешь?
- Ничего, только пропуск достань.

Глаза у старика разгорелись. Опять осмотрел камень, даже полизал, покусал; быстрым, как бы воровским, движеньем погладил свою Авраамову бороду, поднял бровь, прищурил глаз и сказал, отдавая камень:

- Слушай, сынок, в городе сегодня не ночуй: будет облава. Страженачальник Маху что-то пронюхал, бунтовщиков нут-амонских ищет. В Козьей пещере ночуй, над Шэолом. Нааман проведет. Если пропуск достану, приду туда до полуночи, а если нет, значит, дело плохо, – беги, душу спасай!

Иссахар опять подал ему камень, но он его не взял.

- Нет, вперед не надо. Будет товар, будет и плата – я честный купец.

Не лгал: был честен – плут и честен вместе, по завету Авраамову.

- Жалко мне тебя, Рыженъкий! – проговорил он тихо, со старческой благостью.
- Брат твой, Элиав, погиб ни за что: как бы и тебе не погибнуть... Помни, сынок, люди на страданье рождаются, как искры пламени, чтобы устремляться вверх, а все-таки сладок свет солнца живым; и псу живому лучше, нежели мертвому льву.

«Душу мою за камень купил, и вот жалеет», – удивился Иссахар. Опять взглянул на орла, все еще кружившего в небе, вспомнил, что будет завтра, и сердце забилось от радости: «Несет, несет и принесет к Себе!»

Взошли на вершину холма и увидели внизу, в котловине, правильный четырехугольник совершенно одинаковых домиков, пересеченный сетью улочек и огражденный высокими стенами.

Мертвая пустыня была кругом: ни деревца, ни кустика – только камень да песок: зимою холодная могила, летом раскаленная печь: настоящий Ад – Шэол.

Снизу пахнуло на них как бы смрадом тлеющей падали. Ахирам повел носом, поморщился:

- Ох-ох-ох! Человечинкой пахнет, двуногой скотинкой. Ни колодца кругом, ни источника, а на реку-то за водой не находишься: в собственном смраде задыхаются, бедные.

Быстро спустились, всё той же тропинкой, на дно котловины и подошли к воротам Шэола. Ахирам постучался. Открылось оконце в стене, выглянул привратник, узнал старика и отпер калитку. Иссахара сначала не хотел

пускать, но Ахирам что-то шепнул ему на ухо, что-то сунул в руку, и он пропустил обоих.

Длинные, узкие, прямые, как по шнуру вытянутые, уложки шли от площади у ворот в глубину селенья. Голая стена была с одной стороны каждой уложки, а с другой – дверцы в глиняных, низеньких, совершенно одинаковых домиках, подобны скотских стойл: уложки – как бы тюремные ходы; домики – как бы тюремные кельи. Ни кладовых, ни житниц: всем заключенным в Шэоле выдавался казенный паек.

Лужи помоев с тучами жужжащих над ними мух, кучи помета, скотского и человечьего, смердели так, как будто все селенье было одна огромная свалка нечистот.

«Язву проказы наведу на дома ваши, – говорил Господь Израилю. – Если покажется язва на стенах домов, зеленоватые или красноватые ямины, должно выломать камни и бросить их на место нечистое; если же снова язва будет цвести, это проказа едкая; должно разломать сей дом».

Все дома Шэола цвели такими язвами. Мертвые камни изъедены были нечистью; тем более – живые тела людей: сыпи, чесотки, нарвы, лишай, парши, коросты и страшные белые струпья проказы покрывали несчастных, заживо сошедших в Ад.

Царскою милостью разрешено было семьям узников жить вместе с ними; но и милость сделалась казнью: люди задыхались в тесноте еще большей. «Женки пархатых плодущие!» – смеялись тюремщики. «Умножая, умножу семя твое, как звезды небесные», – благословил Господь Израиля; но и благословение сделалось проклятьем: дети рождались и умирали бесчисленно, киша в смердящем Аду, как черви в падали.

Все племена пленил ты в свои плен,
Заключил в узы любви, –
вспомнил Иссахар песнь царя богу Атону. «Хороша любовь, – подумал, – живых низвел в преисподнюю!»

Подойдя к Элиавову домику, Ахирам простился с племянником и пошел обратно в город за пропуском.

Иссахар вступил в полутемные сени. Две шелудивых овцы дремали в стойле; старый, больной лошак и ободранный ослик уныло понурили головы у пустой водопойной колоды: вьючные животные возили тяжести в каменоломнях и жили вместе с заключенными.

Тут же, сидя на гноище, куче навоза и пепла, голый, подпоясанный рубищем, древний старик скоблил черепицею белые струпья проказы на теле своем и плакал, вопил однозвучно-глухо, как ветер в ночи. Это был дед Элиавовой жены, Ноэмини, Шаммай Праведный.

Некогда жил он в богатстве, почете и счастьи, имел соловарни у Горьких Озер и множество скота на Гозенских пастбищах; посыпал караваны с шерстью и солью в Мадиамскую землю. Был непорочен и богобоязнен, за что и назван Праведным. Думал кончить жизнь в старости добром, насытившись днями. Но Бог захотел его испытать и вдруг отнял все. Двое сыновей его пропали без вести с караваном в пустыне: должно быть, убили их разбойники; двое других – погибли в восстании. Зять, управлявший всем его имением, сделал на него ложный донос, будто и он, Шаммай, участвовал в бунте. Его схватили, судили и оправдали; но судьи, стакнувшись с зятем, обобрали его и пустили по миру нищим. Все друзья покинули его, жена умерла. Вспомнив тогда любимую внучку свою, Ноэминь, он переселился к ней в Шэол и здесь заболел проказой.

Днем и ночью, сидя на гноище, расчесывал он струпья черепицеей и услаждал сердце воплем. Все в доме привыкли к этому бесконечному воплю так, что уже почти не слышали его, как скрипа дверей, шума ветра или стрекотанья кузнечиков.

Остановившись в сенях, Иссахар прислушался.

– Погибни день, в который я родился, и ночь, сказавшая: зачался человек! Для чего не умер я, выходя из утробы? Лежал бы я теперь и почивал: спал бы, и мне было бы покойно. Опротивела душе моей жизнь моя! Скажу Богу: не

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
обвиняй меня, объяви мне, за что Ты борешься со мной? Хорошо ли для Тебя,
что Ты губишь невинного?

Так вопил Шаммай, и Иссахару казалось, что это вопль всего Израиля, а может быть, и всего человеческого рода, от начала до конца времен.

Пройдя мимо Шаммаева гноища, он вошел в тесную, темную клеть, где тускло мерцали две плошки-лампады с овечьим жиром, одна – у стены, на деревянной полочке с глиняными уродцами богов Элогимов, другая – на низком кирпичном помосте-лежанке с каменной плитой, служившей столом.

Сидя за ним, Элиав ужинал с двумя гостями, Авиезером, священником, и Нааманом, пророком.

Авиезер был тучный, краснощекий, чернобородый, важного вида человек. Пышная, из финикийской узорчатой ткани, одежда его была неопрятна; множество перстней с фальшивыми камнями блестело на жирных пальцах. Он приехал в Шэол с милостыней узникам от богатых гозенских купцов.

Нааман, лудильщик и пророк, был маленький, лысый стариочек, тихий, робкий и застенчивый, с одним из тех простых и добрых лиц, какие бывают у бедных еврейских поденщиков. Он приехал с Иссахаром из Фив.

Были и другие гости, но они сидели поодаль, не принимая участия в беседе и трапезе.

Когда Иссахар увидел брата, человека лет сорока, высокого, сутулого, костлявого, с изрытым глубокими морщинами, как будто измятым, лицом, – все вдруг исчезло из глаз его, кроме этого лица: родного, чужого, жалкого, милого, страшного.

– А-а, наконец-то, пожаловал! А я уж думал, не придешь, – сказал Элиав, вставая.

Иссахар подошел к нему и хотел обнять, но тот, быстрым движением хватив его за руки, не оттолкнул, а только удержал и заглянул ему в глаза, усмехаясь:

– Ну что ж, можно бы, пожалуй, и обняться? Аль брезгаешь? – проговорил, как будто не он, Элиав, медлил обнять брата, а тот – его.

Иссахар бросился к нему на шею.

– Ну, садись, – сказал Элиав, освободившись от его объятий, и указал ему на почетное место рядом с собой, полукруглый, низенький каменный стулец. – А мы тут, видишь, пируем, твоим же гостинцем без тебя угощаемся. Спасибо, что вспомнил, милостыньку нищим прислал. Угощать не смею: вам, египтянам, нечиста наша Иадова трапеза!

– Что ты, брат, зачем так говоришь? – начал Иссахар и не кончил, покраснел, потупился. Взял кусок с блюда.

– Есть! есть! И впрямь не гнушаются! – воскликнул Элиав, продолжая усмехаться недоброй усмешкой.

Авиезер тоже усмехнулся в бороду, а Нааман обвел всех добрыми глазами, с тревогой.

– Может, и выпьешь? – спросил Элиав.

Иссахар подставил чашу, и тот налил в нее из кувшина густой, как масло, аloy, как кровь, гранатовой наливки, тоже братнина гостинца. Налил и себе.

– За твое здоровье, Изеркер!

Выпил одним духом.

– Ах, хороша наливка, в жизнь такой не пивал!

Снова налил. Подошла Ноэминь, молодая, испитая женщина, и сказала мужу на ухо:

– Больше нельзя, господин.

– Отчего нельзя? Сколько лет с братом не виделись, как же не выпить на радостях?

Грубо оттолкнул ее локтем в беременный живот, так что она едва не упала.

– Ох, голубчики, миленькие, не давайте ему пить, беды наделает! – взмолилась она к гостям и отошла покорно, как прибитая собака.

– Чашу вторую за успех дела! – сказал Элиав. – К нам-то, чай, не без дела пришел, не для того, чтобы с братцем видеться? Ну-ка говори, Изеркер, зачем пришел?

– Не Изеркер, а Иссахар, – поправил тот и чуть-чуть побледнел, нахмурился.

– Иссахар, по-израильски, Изеркер, по-египетски, – возразил Элиав. – Сам-то ты знаешь ли, как тебя звать? Ну, полно, не сердись, не смотри на меня глазами Авеля. В Авели тебе хочется, да я-то не Каин... Равви, за что Каин убил Авеля? – обратился он к Авиезеру.

– За то, что призрел Бог на Авелев дар, а Каинов отверг.

– А отверг за что?

– Этого никто не знает.

– Ну вот, так всегда: главного никто не знает. А ведь с этого-то все и началось. Скверно началось – скверно, должно быть, и кончится... Говори же, Авель, с чем пришел?

– С доброю вестью, брат: ныне услышал Господь вопль Израиля. Скоро из Шэола выйдете, узники... Наби Нааман, ты пророк Божий, ты лучше моего знаешь все, – говори!

Нааман покачал головой, улыбаясь застенчиво:

– Э, полно, куда мне в пророки! Я человек несмышленый; вся-то мудрость наша котлы да кастрюльки лудить...

– Ничего, говори, Бог вразумит!

Старичок опустил глаза, помолчал; потом заговорил тихо, робко, видимо, повторяя чужие слова:

– Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля: укрепите ослабевшие руки и утвердите колена дрожащие, вот Бог ваш! Он придет и спасет вас; мышцею простертую и судами великими изведет народ Свой из Египта, из печи железной. И будет второй Исход больше первого, и больше Моисея – новый вождь Израиля.

Вдруг поднял глаза, и голос его окреп, зазвенел:

– Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Попирают народ Твой, угнетают наследие Твое. Боже отмщений, Господи Боже отмщений, яви Себя, воздай возмездие гордым! У Господа суд с народами: Он будет судить всякую плоть!

– Что-то долго не судит! – проговорил Элиав, усмехаясь язвительно, и, как будто в ответ ему, раздался вопль Шаммая:

– Вот я кричу: обида! И никто не слушает, воплю, и нет суда! Почему Бог пытке невинных посмеивается? Почему беззаконные живут и проводят дни свои в счастьи? Почему земля предана злодеям и Бог покрывает лица их? Если не Он, то кто же?

– Слышишь? – спросил Элиав, глядя прямо в глаза Иссахару. – Прав Шаммай: нет судов Божьих в делах человеческих. Болтовня пустая – все ваши пророчества. Вся земля – рай злодеев, ад невинных, Шэол. Жалкие утешители все вы, врачи бесполезные, будьте вы с вашим Богом прокляты!

Авиезер поднял глаза на Элиава и сказал:

– Не богохульствуй, сын мой. Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных!

– А ты, брат, что скажешь? – спросил Элиав, продолжая смотреть прямо в глаза Иссахару. – Прав Шаммай или не прав?

– Прав.

– Кто же ответит ему?

– Избавитель.

– А Избавитель кто?

– Сам знаешь.

– Нет, не знаю. Много к нам пророков ходит, не вы одни. Вон и о царе Ахенатоне говорят, что он – Избавитель. Уж не от него ли и ты к нам пришел?

– Зачем смеешься, брат, над святыней ругаешься?

– А что свято, сам-то ты знаешь ли? Правда ли, говорят, что ты в веру царя обратился?

– Нет, неправда.

– Как же намедни, на празднике Солнца, видели тебя среди обращенных? Кого обманываешь, их или нас?.. Что же молчишь? Говори!

– Что мне тебе сказать, брат? Все равно не поверишь. Подожди до завтра, – завтра узнаешь все...

– Завтра? Нет, сейчас, сейчас говори. Что значит: «Скоро из Шэола выйдете, узники»? Без бунта не выйдем. Бунтовать нас пришел, что ли?

– Завтра все узнаешь, – повторил Иссахар, вставая.

Элиав тоже встал и схватил его за руку:

– Стой, так не уйдешь! Нам не хочешь сказать – скажешь царскому приставу!

– Донесешь?

– А ты что думал? Око за око, зуб за зуб. Десять лет из-за тебя мучаюсь, – помучайся и ты.

– Ох, голубчики, миленькие, держите, держите его, беды наделает! – опять закричала Ноэминь.

Все бросились на Элиава, но, прежде чем успели удержать его, он отскочил в угол, схватил стоявший там у стены медный лом, которым ломал камень в каменоломнях, подбежал к Иссахару, занес над ним лом и закричал:

– Прочь с глаз моих, сын Козла смердящего, убью!

Иссахар, закрыв лицо руками, выбежал вон из дома.

Бежал темной улочкой, спотыкался, падал, вставал и снова бежал, обуянный ужасом.

Только за воротами Шэола опомнился. Рядом с ним бежал Нааман и что-то говорил ему, но он долго не мог понять что; наконец понял:

– В Козью пещеру бежим, там переношуем!

Узкою тропинкой-лесенкой, вырубленной в круче скал, поднялись из котловины Шэола на гору, в степь. Вдали красной точкой замигал огонек. Пошли на него. Злые овчарки с паучьими мордами кинулись на них с лаем. Старый пастух вышел им навстречу, отогнал псов, низко поклонился, приветствуя Наамана по имени,

– видимо, ждал гостей, – и повел их в пещеру у самого обрыва над Шэолом.

двою молодых пастухов, сидевших у костра в пещере, среди спавшего стада коз и овец, встали, тоже низко поклонились, подбросили хвороста в огонь, постлали овечьи меха, пожелали гостям доброй ночи и вышли со стадом.

Иссахар и Нааман сели у огня.

«Люди рождаются на страданье, как искры пламени, чтоб устремляться вверх», – вспомнил Иссараб слова Ахирама, глядя на искры в дыму, и подумал: «Завтра Элиав узнает все и простит, полюбит меня!»

Лег и, только что закрыл глаза, начал спускаться по темным, подземным ходам в Нут-Амоново святилище бога Овна; шел-шел и все не мог дойти – заблудился. Красной точкой вдали замигал огонек. Он пошел на него. Точка росла, росла и выросла в красное, на черном небе, солнце. Кто-то стоял под ним, в белой одежде, с тихим лицом, как у бога, чье имя: «Тихое Сердце». Тихий голос сказал: «Ты, Отец, в сердце моем, и никто Тебя не знает, – знаю только я, Твой сын!» – «Проклят обманщик, сказавший: я – Сын!» – закричал Иссараб и, выхватив нож из-за пояса, хотел ударить. Но увидел красную, по белой одежде льющуюся кровь. «Воззрят на Того, Кого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о сыне», – вспомнил пророчество, выронил нож и упал к ногам Пронзенного, с воплем: «Кто ты?»

– Ахирам, дядюшка твой, а ты думал кто? да ну же, проснись, сынок! – услышал он голос Ахирама и проснулся.

– Что с тобой, Рыженький? Сон дурной приснился, что ли? – говорил стариk, ласково глядя его по голове. – А вот и пропуск!

Вынул из-за пазухи и подал ему глиняную дощечку: рядом с царскою печатью, солнечным кругом Атона, стояло наверху число месяца, а внизу – подпись: «Тутанкатон».

Иссахар взял дощечку и смотрел на нее, все еще дрожа так, что зуб на зуб не попадал.

– Камешек давай! – сказал Ахирам, взглянув на него подозрительно: как бы не отказался от платы.

Иссахар вынул из мешка и подал ему камень.

– Да что ты как испугался? Аль раздумал? Не пойдешь? – спросил стариk.

– Нет, пойду, – ответил Иссараб.

VI

– Бедная царица! Когда болит у бога живот, делать ему припарки, ставить промывательные и все-таки верить, что царь – бог, не так-то легко! – смеялся старый вельможа Айя.

Тута, большой любитель острых слов, однажды, в минуту откровенности, передал Дио эту шутку, и часто она вспоминала ее, глядя на царицу Нефертити.

В двадцать восемь лет, мать шестерых детей, все еще она была похожа на девочку: тонкий девичий стан, чуть выпуклая грудь, узенькие плечи, выступающие на ключицах косточки, шейка тонкая, длинная, – «как у жирафа», шутила сама. Под высоким, ведроподобным царским кокошником, низко надвинутым на лоб, так что не видно было волос, детски нежно казалась округлость лица; в слишком короткой верхней губке, слегка выдававшейся над нижней, была детская жалобность; в черных, без блеска, огромных глазах с чуть-чуть косым разрезом, с тяжело опущенными веками и как бы внутрь смотрящим взором – бездонно-тихая грусть.

Вся настороженная, как будто к чему-то внутри себя прислушалась и так замерла; вся неподвижная, как стрела на тетиве, или слишком натянутая, но еще не зазвеневшая струна: зазвенит – оборвется. Раненная насмерть и скрывающая рану свою ото всех.

Дочь митаннийской царевны Тадухипы и египетского царя Аменхотепа Третьего, царица Нефертити была сводною сестрою царя Ахенатона; цари Египта, сыны Солнца, чтобы сохранить чистоту солнечной крови, часто женились на сестрах своих.

Царь и царица были так схожи, что в юности, когда мальчик и девочка одевались почти одинаково, люди с трудом различали, кто он, кто она. Та же прелесть была в обоих, слишком томная, как в едва расцветшем и уже от зноя никнувшем цветке.

Ты – цветок, чьи корни из земли исторгнуты;
Ты – росток, текучей водой не взлеленный, –
вспоминала Дио песнь о боге Таммузе умершем, глядя на плоское стекло
изваяние царя и царицы в одной из дворцовых палат, где изображены они были
сидящими рядом на двойном престоле: левой рукой обняла она стан его, правую
– вложила в руку его, пальцы в пальцы, и облики их сливались так, что почти
не видно было ее из-за него: он – в ней, она – в нем. Как сказано было в
песне Атону:

Господи, прежде сложения мира
Волю свою открыл ты сыну своему,
Ахенатону Уаэнра,
И дочери своей возлюбленной,
Нефертити, Прелести-прелестей-солнечных,
Цветущей во веки веков!
«Розно любить их нельзя, можно только вместе – двух в одном», – это Дио
сразу поняла.

После пляски в день рождества Атонова получила она сан главной
опахалоносицы одесную благого бога-царя и, покинув Тутину усадьбу,
поселилась во дворце, в отведенном ей покое женского терема, недалеко от
покоев царицы. С нею скоро сблизилась, но от царя отделяла ее какая-то
преграда, ей самой непонятная.

Что он «не совсем человек», уже не боялась: через царицу узнала, что
человек совсем. «Когда болит у бога живот», – в этой плоской шутке был
глубокий смысл. И страх, испытанный ею на празднике Солнца от кощунственных
слов о сыне божьем, царе Ахенатоне, в ней тоже потух: не все ли цари Египта
называли себя сынами божьими?

Страха не было, но было то, что, может быть, хуже страха.

Осенью, бывало, во время охоты на Иде-горе, на острове Крите, в самый
яркий, солнечный день вдруг наползал из горных ущелий туман, и червонное
золото леса, синее небо, синее море – все тускнело, серело, и самое солнце
глядело из тумана как мертвый рыбий глаз. «Что, если, – думала она, –
глядят на меня и Радость-Солнца, Ахенатон, таким же рыбьим глазом?»

Каждый день плясала перед ним, и он восхищался ею. «Только плясунья, –
больше никогда ничем я для него не буду», – говорила она себе со скучой –
серым туманом в душе.

Целыми часами стояла за царским престолом, то подымая, то опуская
медленно-мерным движением, по древнему чину, пышное, из страусовых перьев,
на длинном шесте опахало. Иногда, оставшись с ней наедине, он вдруг
обворачивался и улыбался ей с такой зовущей лаской, что сердце у нее
замирало от ожидания: вот-вот заговорит, и падет преграда. Но молчал или
говорил о пустом: спрашивал, не устала ли, не хочет ли присесть отдохнуть;
или удивлялся, что так скоро научилась владеть опахалом, искусству более
трудному, чем кажется; или, с шутливой любезностью за то, что она с ним,
благословлял глупый древний обычай навевать зимою прохладу и отгонять мух,
которых нет.

Однажды Дио рассказывала царице нехотя, только отвечая на расспросы, – не
любила говорить об этом, – как, отмщая за человеческую жертву, свою любимую
подругу, Эйю, убила она бога быка на Кносском ристалище; как присудили ее
за то на сожжение, и как спас ее Таммузадад, вавилонянин, взойдя за нее на
костер.

Тут же был царь и слушал как будто внимательно. Когда Дио кончила, у царицы
стояли слезы в глазах, а царь, точно вдруг очнувшись и взглянув на них

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
обеих с тихою, странною улыбкою, пробормотал, спеша и волнуясь, повторяя
одни и те же слова, как это часто делявал:

– Бритье не надо! Не надо брить!

Это было так некстати, что Дио испугалась, подумала, не болен ли он. Но царица спокойно улыбнулась, положила руку на голову ее и сказала:

– Нет, ни за что не будем брить: жалко таких чудесных волос!

Только тогда вспомнила Дио, что намедни спрашивала царицу, не сбрить ли ей волосы, чтобы, по здешнему обычью, надеть парик.

Царь тотчас после этих внезапных слов о бритье вышел, а царица, как будто извиняясь за него, сказала, что он в последние дни не очень здоров.

Долго Дио не могла забыть, как в ту минуту мелькнуло перед ней Гэмматонское дряхлое страшилище – глянуло солнце сквозь туман – «рыбий глаз».

А в тот же день вечером, оставшись с ней наедине, он вдруг встал, положил ей руки на плечи и приблизил лицо к лицу ее, как будто хотел поцеловать, но не поцеловал, а только улыбнулся так, что сердце у нее замерло: вспомнился мальчик, похожий на девочку, с тихим-тихим лицом, как у бога, чье имя «Тихое Сердце».

Снится иногда человеку райский сон, как будто душа его во сне возвращается на свою небесную родину, и долго, проснувшись, не верит он, что это был только сон, не может привыкнуть к земной чужбине и все томится, грустит: такая грусть была в этом лице. Длинные ресницы опущенных, как бы сном отяжелевших век казались влажными от слез, а на губах была улыбка – след рая – небесная радость сквозь земную грусть, как солнце сквозь облако.

– Давеча я слышал все, только не хотел при ней говорить: об этом нельзя говорить ни с кем. Ведь ты это знаешь? – сказал он, глядя на нее все с той же улыбкой.

– Знаю, – ответила Дио.

– Милая, как хорошо, что ты пришла, как я тебя ждал!

Еще приблизил лицо к лицу ее, так что губы их почти слились.

– Любишь? – спросил детски просто.

– Люблю, – ответила она также просто.

И в том, что он ушел, не поцеловав ее, была радость райского сна.

На следующий день, одиннадцатый после Рождества Атонова, Дио стояла с опахалом за царицыным креслом, в дворцовой палате Разлитья, изображавшей половодье Нила.

Утренне-зимнее солнце светило сквозь тающий пар облаков в четырехугольное отверстие потолка, украшенного фаянсовым плетением виноградных лоз с темно-красными гроздьями и темно-синими листьями. Роспись стенных изразцов изображала водяные цветы и растения; в венцах столпов – связанных стеблей папируса, изваяны были дикие утки и гуси, висевшие вниз головами, – добыча ловитвы речной; а роспись пола изображала Нильскую заводь: между голубыми волнистыми линиями водной збы плавали рыбы; в лотосной чащее порхали бабочки, взлетали утиные выводки, и тут же скакал, смешно задравши хвост, красно-пегий теленок. Все, как в утренней песне Атону:

Радостью радуется вся земля:
Всякий скот пасется на пастбище,
Всякий злак зелнеет в полях;
Птицы порхают над гнездами,
Подымают крылья, как длани молящие;
Всякий ягненок прыгает,
Всякая мошка кружится:
Жизнью твою оживают, Господи!

Царь играл с шестью дочерьми: Меритатоной, Макитатоной, Анкзембатоной,

Нефератоной, Неферурой и Зетепенрой. Старшой было пятнадцать, младшой – пять, а остальные – погодки. Когда становились они в ряд, на молитву, то гладко бритые головы их, с черепами яйцевидно-удлиненными, – «царские тыковки», – постепенно понижались, от большой к маленькой, подобно косому ряду дудочек в пастушьей свирели.

Четверо старших были в распашонках из прозрачного льна – «тканого воздуха», а две маленьких – совсем голые, с коричнево-смуглыми, тоненькими, как палочки, ручками и ножками, с тяжелыми золотыми кольцами в ушах и широкими на шеях ожерельями из расположенных лучами хрустальных и хризолитовых слез.

В играх участвовал и царский карлик Иагу из дикого племени пигмеев Уа-уа, жившего, подобно обезьянам, на деревьях, в болотных лесах Крайнего Юга. Росту в локоть с небольшим, кривоногий, толстопузый, черный, сморщенный, старый, страшный, как бог Бэс, первозданный урод; по виду свирепый, а на самом деле кроткий, как овца; чудесный плясун; вечная нянька царевен, любимец их и мученик; преданный слуга царского дома; за всех их вместе и за каждого в отдельности умер бы с радостью.

Сначала играли в «девять», прокатывая костяные шарики в камышовые дужки-воротца так, чтобы свалить сразу девять поставленных в ряд кегельков, деревянных куколок с гадкими рожами – девять враждебных Египту царей.

Потом ученый белый пудель Данг, с шапкой огненно-красных перьев на голове и рубиновыми серьгами в ушах, ученик Иагу, скакал сквозь обруч и ходил на задних лапах, держа в передних военачальнический жезл, а на носу кусок антилопьего мяса, и не смея проглотить его, пока Иагу не вскрикивал: «Ешь!»

Потом, выйдя из палаты в зимний сад-теплицу с редкими заморскими цветами и водоемом, где плавали чаши лотосов, лепили из глины двух страшных уродов – вавилонского царя Буррабуриаша и сына его, царевича Каракардаша, который сватался за восьмилетнюю царевну Нефератону. Царь испачкался глиной так, что его должны были отмывать в водоеме.

Потом забавлялись с петухом, невиданной в Египте птицей, привезенной из Митаннийского царства. Смущенный, должно быть, долгим путешествием, он все угрюмо молчал, хохлился, но вдруг захлопал крыльями и закричал сегодня в первый раз так громко, что все испугались, а потом восхитились: «Настоящая труба!» – и начали ему подражать; царь – так неумело, что девочки смеялись над ним.

Потом, вернувшись в палату, играли в жмурки. Иагу поймал царя. Ему завязали глаза. Девочки прыгали, шмыгали под самым носом его, звенели систрами, топотали по полу босыми ножками, подражая молотящим волам, и пели песенку:

Ек-ек-ек!
Нынче свеженький денек.
Молотите, бычки.
Вы – лихие батрачки,
Потопчите гумно!
Будет каждому паек:
Вам солома, нам зерно!
Царь, неуклюже расставив руки, ловил пустой воздух или обнимал столпы.
Наконец, поймал Анки, двенадцатилетнюю Тутину супругу.

– Сдвинул, сдвинул повязку! – закричала она. – Вон левый глаз смотрит! Так нельзя мошенничать, авинька!

«Авинька» было уменьшительное от ханаанского слова «авва» – «отец».

– Нет, не сдвигал, сама сползла, – оправдывался царь.

– Сдвинул, сдвинул! – продолжала кричать Анки. – Я тебя знаю, авинька, ты ужасный плутишка! Что ж это за игра? Лови опять!

Завязала ему глаза покрепче, и он пошел снова ловить.

Пудель Данг, как бы тоже играя, ходил на задних лапах, держа в передних звенящих систр. Царь, думая по звуку, что это маленькая Зета – Зетепенра, быстро нагнулся и обнял Данга. Тот залаял и лизнул его языком в лицо. Царь испугался, закричал, присел на пол и оттолкнул его. Но тот опять подскочил,

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
положил ему передние лапы на плечи и начал лизать, визжа от восторга.

Все захочотали, закричали:

– Поцеловался, авинька, с Дангом, побратался царь с песиком!

Царица тоже смеялась.

– Будет тебе махать, садись, отдохни, – сказала она, обернувшись к Дио, и та присела на подножку кресел.

– «Царство – детям», – вдруг вспомнила вслух слово царя, слышанное от маленькой Анки.

– «Царство – детям», – повторила царица. – А дальше знаешь как?

– Как?

– «Что самое божественное в людях? Слезы мудрых? Нет, смех детей».

– Так вот отчего детские ручки-лучики у бога Атона? – спросила Дио.

– Да, вся мудрость в этом: детское – Божье, – ответила царица, тихонько положила руку на голову ее и посмотрела ей прямо в глаза.

– Что ты сегодня какая хорошенъкая? Уж не влюбилась ли? – сказала, улыбаясь.

«Совсем как он», – подумала Дио.

– Почему влюбилась? – спросила, тоже улыбаясь.

– Потому что девушки, когда влюблены, хорошеют особенно.

Дио покачала головой, покраснела, быстро нагнулась, схватила руку ее и начала целовать долго, жадно, как будто целовала его сквозь нее.

Вдруг почувствовала, что рука царицы вздрогнула. Подняла глаза и, увидев, что она смотрит на дверь, тоже взглянула туда. Там стоял великий жрец бога Атона, Мерира, сын Нехтанеба.

Дио поразило лицо его еще на празднике Солнца, и часто потом, вглядываясь в него, не могла она понять, привлекает ли ее или отталкивает это лицо.

Он был немного похож на Таммузадада: та же каменная тяжесть в обоих лицах; но в том – что-то жалкое, детское, а в этом – безнадежно-взрослое. Каменная тяжесть – в низко нависших бровях, в неподвижно-пристальных, но как будто слепых, глазах, в широких скулах, в крепко стиснутых челюстях и в крепко сжатых, как будто в вечной горечи запекшихся, губах, с постоянной готовностью к усмешке и невозможностью улыбки.

«Кто умножает познание, умножает скорбь», – вспоминала Дио слова Таммузадада, глядя на это лицо. «Все познать – все презреть; не проклясть, а только молча презреть – изблевать из уст», – как будто говорило оно. Если бы очень мужественный и твердо решившийся на самоубийство человек, выпив яду, спокойно ждал смерти, у него было бы такое лицо.

Из древнего рода Гелиопольских жрецов Солнца, когда-то пламенный ревнитель Амона, любимый ученик Птамоза, Мерира изменил ему и перешел в веру Атона. Царь очень любил его. «Ты один был послужен ученью моему, и никто, кроме тебя», – сказал ему при посвящении в сан великого жреца.

Мерира вошел в палату, когда царь сидел на полу, и пудель Данг, положив ему лапы на плечи, лизал его языком в лицо, а царевны хохотали, кричали:

– Поцеловался авинька с Дангом, побратался царь с песиком!

Должно быть, не заметив царицы, Мерира остановился в дверях и смотрел на царя пристально. Царица, чуть-чуть наклонившись и вытянув шею, смотрела на Мериру также пристально, как тот – на царя.

– Мерира, Мерира! – вдруг вскрикнула она, и страх блеснул в ее глазах. – Что ты так смотришь, слазить хочешь царя, что ли? – засмеялась, но и в смехе был страх.

Он медленно обернулся к ней и поклонился низким, поясным, по чину, поклоном, выставив вперед руки с поднятыми ладонями.

– Радуйся, царица Нефертити, Прелесть-прелестей-солнечных! Я пришел звать государя в Совет, но, кажется, не вовремя...

– Почему не вовремя? Ступай, доложи.

Мерира подошел к играющим. Смех умолк. Царь вскочил и взглянул на него с виноватой улыбкой:

– Что ты, Мерира?

– Ничего, государь. Ты сегодня изволил назначить Совет.

– Ах, да, Совет, я и забыл... Ну, пойдем же, пойдем, – заторопился он.

Все еще на шее у него болталась повязка от жмурок; он хотел ее сдернуть, но не мог: завязалась узлом. Анки подошла к нему, распутала узел, сняла повязку, а Рита – Меритатона надела ему на голову снятый для игры царский шлем-тиару.

Лица у девочек вытянулись. Пудель тихонько ворчал на Мериру, а карлик строил ему из-за спины царя смешные и страшные рожи. Точно вдруг тень набежала на все, и солнце померкло, сделалось как «крыбий глаз».

Проходя мимо царицы и Дио, царь посмотрел на них покорно, уныло, как школьник, идущий на скучный урок.

Дио взглянула на царицу.

– Да, ступай за ним, – сказала она, и Дио пошла за царем.

Он оглянулся на нее с благодарной улыбкой, а Мерира – на них обоих с давнейшей тихой усмешкой.

VII

Все трое вошли в палату Совета. Здесь давно уже собирались и ожидали царя сановники. Когда он проходил мимо них, падали ниц, нюхали землю у ног его, приподымали бритые головы с черепами яйцевидно-удлиненными – «царские тыковки», протягивали руки, выставив ладони вперед, и восклицали:

– Радуйся, Радость-Солнца, Ахенатон!

Тута, по обыкновению, превзошел всех.

– Царь мой, бог мой, сотворивший меня, даруй мне насыщаться лицезрением твоим вечно! – воскликнул он, закатывая глаза с таким умиление, что всему позавидовали.

Царь сел на престольное кресло на низком алебастровом помосте между четырьмя столбиками. Дио стала за ним с опахалом.

Все смотрели на нее с любопытством. Она понимала, что ее уже считают царской возлюбленной; покраснела, потупилась.

В глубине многостолпной палаты выстроилась стража хеттейских амazonок-телохранительниц. Сановники уселись полукругом на полу, на циновках, поджав под себя ноги. Только трое сидели на складных стульях: Тута, Мерира и верховный советник царя, главный военачальник Рамоз, семидесятилетний старик, тучный, грузный, с пухлым, красным лицом, напоминавшим старую женщину, с вельможно-любезной улыбкой на пухлых губах, с маленькими, заплывшими глазками, очень умными и добрыми.

Внук полководца Аменемхэба, сподвижника великого Тутмоза Третьего, Завоевателя, сам доблестный вождь, стяжавший славу в трудных походах на

дикие племена Куша и Синайских кочевников, возведенный при царе Аменхотепе Третьем, отце Ахенатона, в сан верховного советника, сохранил его Рамоз и при сыне. Народ любил его, называл «человеком справедливым». Душу свою положил бы он за царя, но бедой и безумьем считал новую веру в Атона, измену старым богам. «Лучший из царей и несчастнейший: губит себя и царство свое ни за что!» – говорил о царе.

Начался Совет. Царь слушал доклады сановников о неурожае, голоде, бунтах, разбоях, грабежах, лихоимствах, отпаденьях и междуусобиях областных начальников.

Стоя чуть-чуть сбоку, дио могла видеть лицо его. Он слушал, опустив голову, и лицо его казалось бесчувственным.

Страженачальник Маху сделал доклад о последнем бунте в Фивах.

- Может быть, ничего бы и не было, если б не пристали ливийские наемники, – заключил он доклад.
- Почему же пристали? – спросил царь.
- Потому что им не заплатили жалованья вовремя.
- А не заплатили почему?
- Государь наместник не велел.

Царь перевел глаза на Туту:

- Зачем ты это сделал?
- Иго царя возложил я на шею мою и вот, несу его, – начал тот издалека, соображая, как лучше ответить: понял, что на него сделан донос. – Взойду ли на небо, сойду ли на землю, везде голова моя в деснице твоей, государь! Туда и сюда смотрю и света не вижу; смотрю на царя, солнце мое, и вот, свет! И кирпич из-под кирпича сдвигается в стене, – я же не сдвинусь из-под ног царя, бога моего...
- Говори, говори скорее, зачем ты это сделал? – прервал его царь с нетерпением.
- Хлеба не на что было купить голодным, вот я и занял из жалованья ливийцам.

Царь ничего не сказал, но посмотрел на него так, что он невольно опустил глаза.

- Сколько убитых? – спросил царь, опять обернувшись к Маху.
- Стa человек не будет, – ответил тот.

Знал, что убитых больше пятисот, но, переглянувшись с Рамозом, понял: правды говорить не надо; царь будет мучаться, может быть, заболеет, а пользы никакой не будет: все останется как было.

- Сто человек! – прошептал царь, еще ниже опуская голову. – Ну, да теперь уж недолго...
- Что, государь, недолго? – спросил Рамоз.
- Именем моим вам людей убивать! – ответил царь и, помолчав, спросил:
- Есть письмо от Рибадди?
- Есть.
- Покажи.
- Нельзя, государь, письмо непристойное.
- Все равно покажи.

Рамоз подал письмо. Царь прочел его сначала про себя, а потом вслух, так спокойно, как будто речь шла не о нем:

– «Муж Гублийский, Рибадди, наместник царя Египетского в Ханаане, так говорит царю: десять лет посыпал я к тебе за помощью, но ты не помог. Ныне муж Аморрейский, Азиру, изменник, восстал на тебя и предался царю Хеттейскому, и собрали они колесницы и мужей своих, дабы покорить Ханаан. Враг стоит у ворот моих, завтра войдет и убьет меня, и тело мое отдаст на съедение псам. Хорошо награждает верных слуг своих царь Египта! Да поступят же с тобою боги так, как ты со мною поступил. Кровь моя на голову твою, предатель!»

– Как смеет этот мертвый пес ругаться над богом-царем! – возмутился Тута.

Царь опять посмотрел на него, и он замолчал, съежился.

– Погиб Рибадди? – спросил царь.

– Погиб, – ответил Рамоз. – Бросился на меч, чтобы не отаться живым в руки врага.

– Что же теперь будет, Рамоз?

– Будет, государь, вот что: царь Хеттейский возьмет Ханаан: подкопают воры стену и войдут в дом. Были мы четыреста лет под игом кочевников и, может быть, другие четыреста будем под игом Хеттеян. Прадед твой, Тутмоз Великий, вознес Египет во главу народов, и были мы свет миру, а ныне этот свет потух...

– Что же делать, Рамоз?

– Сам знаешь что, государь.

– Начать войну? – спросил царь.

Рамоз ничего не ответил: знал, что царь погубит себя, погубит царство свое, а войны не начнет.

Царь тоже молчал, как будто глубоко задумался. Вдруг поднял голову, сказал:

– Не могу!

Еще помолчал, подумал и повторил:

– Не могу, нет, не могу! «Мир, мир дальним и ближним», – говорит отец мой небесный, Атон. «Мир лучше войны; да не будет войны, да будет мир!» Вот все, что я знаю, все, что имею, Рамоз. Это у меня отнимешь, – ничего не останется: нищ, гол, мертв. Лучше сразу убей!

Говорил тихо, просто; но сердце Дио дрогнуло вновь, так же как намедни в радости райского сна. Вдруг почему-то вспомнилась ей над желтой равниной песков в солнечно-розовой мгле млеющая бледность исполинского призрака – пирамиды Хеопса: совершенные треугольники: «я начал быть, как Бог единий, но три Бога были во Мне», по слову древней мудрости, – божественные треугольники, возносящиеся к небу все уже, уже, острей, острей и, наконец, в последнем острие – восторг исступляющий, тот же, как в этом тихом слове Ахенатона: «Мир»!

– О, сколь сладостно ученье твое, Уаэнра! – опять выскочил Тута – пудель Данг лизнул царя языком в лицо. – Ты – второй Озирис, не мечом, а миром мир побеждающий. Скажешь воде «взойди на гору» – взойдет; скажешь горе «пади на воду» – падет; скажешь войне «да будет мир» – и будет мир.

– Слушай, Рамоз, – начал царь, – я не так подл, как думал Рибадди, и не так глуп, как думает Тута...

Пудель Данг получил по носу: испугался, огорчился. Но сидевший рядом с Тутой вельможа Айя, старик с умными, холодными и бесстыдными глазами, утешил его.

– Э, полно, брось, не стоит, – шепнул ему на ухо. – Видишь, дурака валяет, юродствует!

– Я не так глуп, как думает Тута, – продолжал царь. – Я знаю: долго еще на земле мира не будет, будет война бесконечная, и чем дольше, тем злее: «все будут убивать друг друга», по древнему пророчеству. Был потоп водный – будет кровавый. Но пусть же, пусть и тогда знают люди, что был человек на земле, сказавший: «Мир!»

Вдруг обернулся к Мерире:

– А ты, Мерира, что думаешь, чему усмехаешься?

– Думаю, государь, что ты хорошо говоришь, но не все. Бог не только мир.

Он говорил медленно, с усилием, как будто думал о чем-то другом.

– А что же еще? – помог ему царь.

– Еще война.

– Что ты говоришь, мой друг? Война – не Бог, а дьявол.

– Нет, и Бог. Две стороны треугольника сходятся в одном острие: день и ночь, милость и гнев, мир и война, Сын и Отец – все противоборства в Боге...

– Сын против Отца? – спросил царь, и рука его, сжимавшая ручку кресла, чуть-чуть дрогнула.

Мерира поднял на него глаза и усмехнулся так, что Дио подумала: «Сумасшедший!» Но он тотчас опустил их снова, и лицо его окаменело, отяжелело каменной тяжестью.

– Что ты меня спрашиваешь? – ответил он спокойно. – Ты лучше моего знаешь все, Уаэнра: сыну ли не знать Отца? Бог – мера всего. Не тебе говорю, а людям: меры ищите во всем – меры мира и меры меча.

– Истинно так! Истинно так! – воскликнул Рамоз. – Я тебя, Мерира, не люблю, а за это слово в ножки поклонился бы: мера мира и мера меча, – лучше не скажешь.

– Что же тебе в этом понравилось так? – удивился царь, взглянув на Рамоза.

– Он говорит очень страшное...

– Да, страшное, да нужное, – ответил Рамоз. – Анкэmmaат, В-правде-живущий, правду ты хочешь вознести до неба и расширить по земле; но слабы люди, глупы и злы. Будь же милостив к ним, государь, не требуй от них слишком многоного. Лесенку подставь – взлезут, а скажешь: летите – полетят в яму. Милостью одной не проживешь: милость-то наша всем злодеям углаживает путь. Много говорим, мало делаем, а верь старику: нет ничего на свете злее добрых слов пустых, нет ничего подлеев благородных слов пустых...

– Это ты обо мне, Рамоз? – спросил царь с доброй улыбкой.

– Нет, Уаэнра, не о тебе, а о тех, кто чуда от тебя требует, а сам для чуда и пальцем не двинет. Двадцать лет правдой служил я царю, отцу твоему, и тебе; никогда не лгал и теперь не солгу. Худо, очень худо делается по всей земле твоей, государь! «Мир», говорим, а вот, меч; говорим «любовь», и вот, ненависть; говорим «свет», и вот, тьма...

Грузно встал, повалился в ноги царю и заплакал:

– Сжался, государь, помилуй! Спаси себя, спаси Египет, подымы за правду меч! А если не хочешь, так и я не хочу видеть, как губишь себя и царство свое. Отпусти меня, старика, на покой!

Царь наклонился к нему, поднял его, обнял и поцеловал в уста.

– Нет, мой друг, не отпушу, да ты и сам не уйдешь – любишь меня... Потерпи немного, теперь уж недолго, я скоро сам уйду, – шепнул ему на ухо.

– Куда уйдешь? Куда уйдешь? – спросил Рамоз с веющим ужасом.

– Молчи, не спрашивай, скоро все узнаешь! – ответил царь и встал, давая знать, что Совет кончен.

VIII

Выходя из палаты Совета, пошли на двор Нищих. Царь велел сановникам идти вперед, а сам замедлил шаг, чтобы остаться наедине с Дио. Минуя ряд покоев, вошли в маленький тепличный садик, где фимиамные деревья в глиняных кадках, привезенные из несказанно далекого Пунта, Страны богов, подобные огромным, паутинно-тонким верескам, точили в солнечном угреве янтарные слезы смолы.

Царь сел на скамью и долго сидел молча, не двигаясь, как будто забыв о присутствии Дио. Вдруг взглянул на нее и сказал:

– Стыд! Стыд! Стыд! Полно тебе смотреть на мой стыд, уходи!

Дио стала перед ним на колени.

– Нет, государь, я от тебя не уйду. Жив Господь, жива душа моя, куда бы ни пошел царь мой, на стыд или честь, там будет и раба его!

– Стыд мой один ты уже видела, увидишь сейчас и другой. Пойдем, – сказал царь, вставая.

Вошли во двор Нищих.

Трижды в году – в половодье, сев и жатву – ворота дворца открывались для всех: всякий бедняк мог входить свободно, сказав имя свое страженачальнику Маху. На дворе расставлены были поставцы с хлебом, с мясом, пивом: всякий мог есть и пить вволю. Тут же принимались царем прошения и жалобы.

В первые годы царствования праздники эти бывали чаще. «Каждый девятый день месяца будет днем нищих, – сказано было в царском указе. – Областеначальники должны раздавать в этот день хлеб голодным из царских житниц, ибо вопль несчастных до неба дошел, и сердце наше терзается».

«Бог богатых – Амон, бог бедных – Атон, – проповедовал царь. – Горе вам, сытые, горе, богатые, приобретающие дом к дому и поле к полю, так что другим не остается места на земле! Руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь, научитесь делать добро. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Будьте хлебом голодных, водою жаждущих, ризой нагих, кровлей бездомных, улыбкой плачущих. Узы ярма развязите и отпустите рабов на свободу: тогда свет ваш взойдет во тьме и мрак ваш будет как полдень!»

– Анкэммаат, В-правде-живущий, – говорили царю ученики его, – ты уравняешь бедных с богатыми, сотрешь межи полей, как стирает их половодье реки. Ты – множество Нилов, затопляющих землю водами любви неисчерпаемой!

Царь изобрел опасную игру – кидать золото нищим – огонь в солому. Долго спасал от беды страженачальник Маху: набирал надежных людей из дворцовой челяди, наряжал их нищими, обещал смирным дележ поровну, а буйным – плеть, и все обходилось благополучно. Царь был близорук, с высоты Горнего места, откуда кидал он в толпу золотые колечки-денежки, не узнавал лиц внизу.

Но кто-то донес на Маху. Царь сильно разгневался, едва не прогнал его со службы, и пришлось-таки в следующий раз пустить уже не ряженых нищих. Тогда случилась беда: только что посыпался золотой дождь, как люди озверели, сделалась свалка, и целый отряд воинов, с оружьем в руках, едва усмирил толпу. Троє убитых и много раненых осталось на месте. Царь заболел от горя. Золотой дождь прекратился, только раздача хлеба и прием жалоб остались.

Двор Нищих был обширный четырехугольник, мощенный алебастровыми плитами, окруженный столпными ходами в два яруса. На одном конце его было Горнее место – царская скиния. К ней вела широкая, отлогая, тоже алебастровая, лестница. На челе скинии парила белоголовая, с красно-чешуйчатым телом, с золотым кольцом, царской державой, в когтях, богиня Ястребиха, Нехтэб, Солнце-Мать. «Как утешает кого-либо мать, так утешу я вас», – говорил царь, сын Солнца, скорбным детям земли.

– Ниц! Ниц! Ниц! Царь идет! Бог идет! – возгласили скороходы-вестники, и вся толпа на дворе пала ниц, восклицая:

– Радуйся, Радость-Солнца, Ахенатон!

Кроме нищих и просителей были тут больные, слепые, хромые, увечные, потому что люди верили, что всякий, кто прикасался к одежде царя или на кого падала только тень от него, получал исцеление.

– Заступи, спаси, помилуй, господи! – вопили к нему люди, как узники ада – к богу, нисшедшему в ад.

Царь, взойдя по лестнице в скинию, сел на престол. Дио стала за ним с опахалом.

Стража впускала просителей в узкий проход между двумя каменными стенками у подножья лестницы. Два нубийских воина с мечами наголо охраняли дверцу посередине стенки, ближайшей к лестнице. Каждый проситель, подойдя к дверце, падал ниц, нюхал землю, клал деревянную или глиняную дощечку с прошением на нижнюю ступень лестницы, где нагромоздилась их уже целая куча, и проходил дальше.

Во двор пускали всех, а в этот ход к подножью царской скинии – только по особым пропускам. Страженачальник Маху наблюдал за всем.

Вдруг произошло смятение. Кто-то, подойдя к дверце, хотел в нее войти. Воины скрестили перед ним мечи, но тот лез прямо на них и, протягивая руки к царю, вопил так, как будто его уже резали:

– Заступи, спаси, помилуй, Радость-Солнца!

Не смея заколоть человека на глазах у царя, воины подняли мечи, и, весь распластавшись, извиваясь ужом, тот прополз под ними и начал ползти вверх по лестнице.

Маху кинулся к нему и схватил его за шиворот. Но он вывернулся, выскользнул из рук его и продолжал ползти и волить к царю.

Маху подал знак телохранителям-копейщикам, стоявшим в два ряда по ступеням лестницы. Те сомкнули ряды и опустили копья. Но ползший полз и на них.

В то же мгновенье раздался неистовый крик:

– Пусти! Пусти! Пусти!

Так странен был этот крик, визжащий, захлебывающийся, как у маленьких детей в родимчике или у женщин-кликуш, что Дио не сразу поняла, что это кричит царь. Вскочив с искривленным лицом, быстро топал он ногами, как давеча девочки, игравшие в жмурки под молотильную песенку. И все звенел, звенел неистовый крик:

– Пусти! Пусти! Пусти!

Маху снова подал знак телохранителям, и те расступились, подняли копья. Ползший прополз между ними почти до верхней площадки лестницы, где стояла царская скиния. Поднял голову, и Дио узнала рыжие длинные кудри, рыжую козлину бороду, оттопыренные уши, крючковатый нос, толстые губы и горячий блеск глаз Иссахара, сына Хамуилова.

Царь затих и, наклонившись, смотрел ему прямо в глаза пристальным, как будто жадным, взором, а тот в глаза царю – таким же взором.

– Тайное слово есть у раба твоего до тебя, государь! – прошептал Иссахар.

– Говори, я слушаю.

– Нет, до тебя, до тебя одного!

– Отойдите, – сказал царь стоявшим на площадке сановникам.

Все отошли, кроме Дио, спрятавшейся за угол скинии. Три-четыре ступени

– Знаю, кто ты! Знаю, кто ты! – говорил он, подползая к нему и глядя в глаза его все тем же неотступно-жадным взором. – Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный, Ахенатон Уаэнра, Сын Бога живого!

Вдруг вскочил и выхватил нож из-за пояса. Но, прежде чем успел поднять его, Дио кинулась к нему и схватила его за руку. Он оттолкнул ее так, что она упала на колени, но, не выпуская руки его, опять вскочила и телом своим заслонила царя. Невыносимо жгущий холод пронзил ей плечо. Услышала крики, увидела бегущих людей и упала с последнею мыслью: «Убьет!».

IX

Райские сады Мару-Атону – Сени-Солнца – находились к югу от города, где скалы горной пустыни подступали к реке.

Сладкое дыханье северного ветра веяло и в самые жаркие дни под кущами вечно-зеленых пальм и кедров, благоухавших, как фимиамные кадильницы. Каждое дерево посажено было в особую ямку, вырытую в песке, наполненную нильским черноземом и обведенную кирпичным валиком, чтобы не стекала вода при поливке.

Всюду были цветники, пруды, островки, мостики, беседки, часовни, терема, легкие, сквозные, решетчатые, узорчатые, великолепно расписанные и раззолоченные, как ларцы для драгоценностей.

Царь часто приезжал сюда, чтобы отдохнуть от городского шума в тишине рая.

Здесь провела Дио три месяца, лечась от раны. Иссахар ударили ее ножом немного выше левого сосца. Рана была опасная: если бы нож вонзился глубже, то мог бы задеть сердце.

В первые дни томил ее сильный жар с бредом.

То будто бы она лежит на костре, как тогда, на острове Крите, после убийства бога Быка: жертвенный нож пронзает ей сердце; жжет пламя костра, но райская свежесть веет сквозь него: пламя – Мерира, свежесть – Таммузадад.

То огненно-рыжий козел пасется на райски свежем лугу; ходит, щиплет траву, и зелень ее чернеет, как уголь; бегают по ней красные искорки; и опять зелень – Таму, искорки – Мерира.

То старый купец, богатый гость сидонянин, в торговых рядах Кносской пристани развертывает перед ней великолепную двуличневую ткань с зеленым и красным отливом, плутовато подмигивает, похваливает товар: «Настоящая риза Ваалова! Мина серебра за локоть, цена последняя...» И опять красный отлив – Мерира, зеленый – Таммузадад.

То уже настоящий Мерира вводит ее во Святое Святых Атонова храма, как было наяву, дня за три до покушения Иссахара; она не хочет входить: знает, что туда не должно входить никому, кроме царя и первосвященника; но Мерира успокаивает ее: «Ничего, со мною можно!» – берет ее за руку, вводит. В тусклом свете лампад призрачно бледнеет на стене плоское изваяние Сфинкса: тело львиное, львиные задние лапы, а руки и голова человеческие, лицо невыразимо странное, тонкое, острое, птичье, старое, древнее, вечное. «Если бы человек промучился в аду тысячу лет и снова вышел на землю, у него было бы такое лицо», – шепчет ей Мерира на ухо. «Кто это?» – хочет она узнать и не может: вдруг узнает и просыпается с криком нездешнего ужаса: «Ахенатон!»

Царский врач Пенту лечил ее так искусно, что ей скоро сделалось лучше. Но, может быть, уход неутомимой сиделки, царицы, был для нее целительнее всех лекарств. Царица ухаживала за нею, как родная мать, не отходила от нее ни на минуту, ночей не спала, хотя сама была нездорова: кашляла, и каждый вечер рдели на щеках ее два пятнышка.

Всякий раз, как Дио видела над собой это прекрасное измученное лицо тоже раненной насмерть, – ей хотелось плакать.

От царицы узнала она, что произошло на дворе Нищих после того, как Иссахар

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
ударил ее, Дио, ножом и она лишилась чувств.

«Бог чудом спас царя», – говорили все. Когда уже злодей занес над ним нож, какое-то ужасное виденье предстало ему; нож выпал из рук его, и сам он упал к ногам царя. Царь, думая, что Дио убит, склонился и обнял ее с таким страшным воплем, что только тогда поняли все, как он ее любит. Долго не могли его поднять. Когда же врач Пенту, наконец, успокоил его, что Дио жива, он поднялся весь в ее крови. «Кровью ты с ним и со мной породнилась», – прибавила царица, рассказав ей об этом, и улыбнулась сквозь слезы.

Часть телохранителей бросилась на Иссахара, чтобы убить его тут же, на месте: но другая часть отняла его у них по приказанию Маху и Рамоза: только эти двое в общем смятении сохранили присутствие духа и вспомнили, что, прежде чем казнить злодея, надо его допросить. Иссахара отвели в тюрьму и здесь допросили, но узнали немного: он никого не выдал, только признался, что, когда поднял нож на царя, какое-то виденье поразило его, а какое именно, не хотел сказать, только все бормотал себе под нос что-то на языке Пархатых об ихнем царе МАшиахе – Мессии, да повторял нелепые слова: «Воззрят на Того, Кого пронзили!». Но кто этот Пронзенный, тоже сказать не хотел, а потом вдруг совсем замолчал.

Пытка в святом уделе Атона запрещена была царским указом, но для такого важного случая прибегли и к пытке. Языка, однако, не развязали ему ни антилопы шелепы, ни гиппопотамы бичи. Маху и Рамоз должны были, наконец, отступить от него, так и не добившись толку.

В ту же ночь он тяжело заболел или притворился больным, чем-то вроде белой горячки. Опасаясь, как бы злодей не умер до казни, Рамоз поспешил испросить у царя смертного приговора. Но царь напомнил ему, что смертная казнь в уделе Атона отменена. Когда же тот предложил вывезти злодея в другой удел, чтобы там казнить, царь усмехнулся, пожал плечами и сказал: «Бога не обманешь, мой друг! Этот человек хотел меня убить здесь – здесь же должен быть и судим». – «Не судим, а помилован», – понял Рамоз и возмутился: решил казнить его потихоньку руками тюремщиков. Но и это не удалось: старые тюремщики заменены были новыми, получившими строгий приказ сохранить узнику жизнь.

Настоящая или мнимая болезнь Иссахара скоро прошла. Царь, тоже полубольной, – вскоре после покушения сделалась у него падучая, и он все не мог оправиться, – посетил узника в тюрьме и долго, мирно беседовал с ним почти наедине: стража стояла вдали. А через несколько дней узнали, что злодей бежал.

Три старших царевны, Маки, Рита и Анки, помогали царице ухаживать за Дио. От них узнала она о ходивших по городу слухах, будто бы сам царь помог бежать Иссахару, а бежал-де он недалеко: тут же, в городе, прячется, выжидая, может быть, нового случая покуситься на жизнь царя.

«Ныне царь осрамил лица всех верных слуг своих, потому что возлюбил ненавидящих его и возненавидел любящих!» – воскликнул Рамоз, узнав о бегстве Иссахара, и вспомнил при этом слова, сказанные дядькой и тезкой отца государева, старцем Аменхотепом Премудрым: «Если хочешь, государь, послужить богам и очистить Египет от скверны, изгони всех Иадов, Пархатых!»

– Прав Гиппопотамчик миленький! – заключила Анки рассказ, – «Гиппопотамчиком» называла Рамоза за тучность, – и вдруг скжала кулачки, затопала ножками, чуть не плача от злости. – Срам, срам на всех нас, что Изка Пархатый помилован!

Дио ничего не ответила, но у нее промелькнула мысль: «Кровью мы с ним породнились, да кровь-то, видно, своя и чужая ему как вода!» И хотя она тотчас сама устыдилась этой мысли, но след ее остался в душе.

Царь часто бывал в Мару-Атону, но царица редко пускала его к больной, особенно в первые трудные дни: знала, что он не умеет обращаться с больными. Разговоры его с Дио были странно-пусты.

– Что это я все о пустом говорю? – удивился он однажды, оставшись с ней наедине. – Оглушен, что ли? Знаешь, Дио, я бываю иногда ужасно глуп, до смешного. Должно быть, от болезни...

Помолчал и прибавил с тою детскими робкими, как будто виноватой, улыбкой, от которой у нее всегда сжималось сердце:

– Хуже всего то, что иногда и самое святое делаю глупым, смешным: точно вор, – украл и осквернил святыню...

– Зачем ты так говоришь? – воскликнула Дио с негодованьем.

– Ну, прости, не буду... что, бишь, я хотел? да, насчет Иссахара. Его-то я простил не от глупости. Он хороший человек...

Вошла царица, разговор оборвался. Дио была этому рада: сердце у нее было так, как будто нож Иссахара опять вонзился в рану.

К месяцу Паонзу, Марту-Апрелю, она была уже почти здорова, но еще слаба.

В первый раз выйдя в сад, удивилась: сразу после зимы наступило жаркое лето; весны как не бывало.

Странная тоска напала на нее в эти знойные дни южной, мнимой весны. «Кто пьет воду из Нила, забывает отчество», – говорили египтяне. Ей казалось, что и она его забыла. Отчего же тоска? «Ни отчего, – утешала себя, – просто глупость, вот как у царя, от болезни. Пройдет». Но не проходило.

В саду Мару-Атону, у Большого пруда, против женского терема, где жила Дио, посажено было деревцо, редчайшее в Египте, привезенное в подарок царевне Макитатоне из Полуночной Фракии, молоденькая березка, белоствольная, стройная, тонкая, как тринадцатилетняя девочка. Царевна очень любила ее; сама ухаживала за нею, поливала, окапывала и обкладывала свежим нильским черноземом.

Дио тоже полюбила березку. Каждый день смотрела, как набухают почки и выходят из них желто-зеленые, клейкие, сморщеные, словно личики новорожденных, листики; целовала их, нюхала, закрывая глаза, и казалось, вот-вот закукует кукушка, запахнет талым снегом и ландышем, как в родных лесах, на Иде-горе, родной настоящей весной.

Когда станицы журавлей улетали на север с уныло-призывающим курлыканьем, она протягивала руки к ним: так бы и улетела с ними! Глядя на вечно-синее, мертвое небо, тосковала о родных, живых облаках. Прикладывая ухо к раковине, жадно слушала гул ее, подобный гулу волн морских: видела море во сне и плакала. Раз понюхала только что купленную Зенрой новую губку и чуть наяву не заплакала.

Был у нее критский резной аметист, подарок матери, с тончайшим рисунком: голые, наклоненные ветром все в одну сторону ветви на затопленном лугу, ветхий завалившийся плетень с торчащими кольями, дождевая осенняя рябь на воде: скучно, скудно все, а душу бы, казалось, отдала, чтоб это снова увидеть. Но знала, что никогда не увидит, не вернется на родину – сама не захочет. Не оттого ли и тоска? Так, может быть, светлые тени в раю тоскуют о темной земле.

Однажды, ранним утром, сидела она у Макиной березки и слушала, как в горной степи, над Мару-Атону, плачет пастушья свирель. Знала песнь и певца: песнь об умершем боге Таммузе, а певец – Энгур, сын Нурдагана, вавилонянин, старый пастух, слуга Таммузадада, привезенный ею в Египет с острова Крита. Медленно падали звуки свирели, однообразно-унывые, звук за звуком, как слеза за слезою:

О Таммузе далеком плач подымается!

Матка-овца и ягненок заколоты,
Матка-коза и козленок заколоты.

О Сыне возлюбленном плач подымается!

Дио слушала, и казалось ей, что плачет в этой песне вся тварь о Сыне грядущем – не приходящем: «Когда же, когда же, Господи?»

Все было тихо, недвижно; только над песчаными дорожками сада, несмотря на ранний час, воздух уже мреял от зноя, струился, как расплавленное стекло.

Вдруг на верхушке пальмы зашевелился, точно ожил, веерный лист: один, другой, третий. Жаркий ветер пахнул, как из печи; закурился песок на

дорожке; свет померк; небо помутнело, пожелтело необычайно, невиданно, похоже на конец мира. И не успела она опомниться, как весь сад зашумел, загудел под внезапно налетевшим вихрем. Сделалось темно, как ночью.

Дио побежала домой. Вихрь валил ее с ног, жег лицо, слепил глаза песком. Дыханье спиралось, кровь стучала в висках, ноги подкашивались. Двадцати шагов не оставалось до дому, но казалось, не добежит, упадет.

– Скорее, скорее, доченька! – закричала ей Зенра с крыльца, схватила за руку, втащила в сени, с трудом, под рвущим ветром, захлопнула дверь и засунула засовом.

– Что это, няня? – спросила Дио.

– Шехэб, язва Сэтова, – ответила старушка шепотом, приложив, как на молитве, обе ладони ко лбу.

Шехэб, юго-восточный ветер, дует из Аравийской пустыни. Огненные тучи песка, взметаемые вихрем до неба, падают косо и шумно, как град. Солнце багровеет, чернеет, как уголь. В полдень надо зажигать огни. В черном, душном, как бы подземном, мраке люди и животные задыхаются, растенья погибают. Вихрь длится не более часа; если бы продлился, все сгорело бы, как в огне пожара.

В огненном мраке Шехэба Дио лежала на ложе, как мертвая. Буря выла за стеной так, что весь дом сотрясался, точно рушился. Кто-то, казалось, стучал кулаками и бросал пригоршнями песка в запертые ставни окон. Пламя лампады колебалось от ветра, проникавшего сквозь стены.

Вдруг дверь отворилась, кто-то вошел.

– Зенра, ты? – окликнула Дио.

Вошедший не ответил. Приблизился к ложу. Дио узнала Таммузадада и не испугалась, не удивилась, как будто ждала его. Он наклонился к ней, усмехнулся: нет, не Таму, – Мерира. Пристальней взгляделась – опять Таму, и опять Мерира; то один, то другой; перемежались, переливались, как два цвета на двуличневой ткани. Ниже наклонился, заглянул ей в глаза, как будто спросил. Знала, что если бы только глазами ответила «нет», он ушел бы; но молча закрыла глаза. Он лег рядом с нею и обнял ее. Она лежала как мертвая.

Когда он ушел, подумала: «Сейчас пойду удавлюсь!» Но все лежала как мертвая. Может быть, уснула, а когда проснулась, Шехэб затих, прояснило и огни лампад побледнели. Вошла Зенра, и Дио поняла, что это был бред.

После Шехэба наступили свежие дни. Сладкое дыханье северного ветра веяло под кущами вечнозеленых пальм и кедров, благоухавших, как фимиамные кадильницы. Только изредка доносился оттуда, где был Шэол, смрад как бы тлеющей падали, и Дио тогда вспоминала свой бред в Шехэбе. Это была последняя вспышка болезни. Рана зажила так, что от нее остался только бледно-розовый, на смуглой коже, рубец над левым сосцом, и Дио была уже здорова.

Царь однажды подарил ей великолепный свиток папируса, золотистого, как старая слоновая кость, углаженного кабаньим зубом до совершенной гладкости, тонкого, крепкого, нетленного.

Папирус был дорог и употреблялся только для самых важных записей; все же прочее писалось на глиняных или деревянных дощечках, плоских, белых камнях или даже на черепках глиняной битой посуды.

Дио долго искала и не могла найти, какого писанья достоин этот драгоценный свиток; наконец, нашла.

Все ученье царя было устно: он сам никогда ничего не записывал и другим не позволял это делать.

«Пропадет, сотрется все, как след ноги на песке», – часто думала Дио с горестью, и вот решила: «Запишу на свитке ученье царя; воли его не нарушу: свитка никто из живых не увидит; но кончу писать – зарою в землю: может быть, выроют и прочтут люди грядущих веков».

Так и сделала.

Тайно ото всех, по ночам, сидя на полу, перед низким поставцом с наклонной дощечкой для папируса выводила на нем остро отточенным концом тростника тесные столбцы иероглифных письмен, сокращенных в беглую скоропись, и каждый столбец покрывала кедровым лаком, делавшим письмо неизгладимым.

Слово премудрости царя Ахенатона Уаэнра Неферхеперура – Радости-Солнца, Сына-Солнца-Единого, Естества-Солнца-Прекрасного, слышала и записала Дио, дочь Аридоэля, Кефтиянка, жрица Великой Матери.

Царь говорит:

«Атон, лик божий, круг солнца, – образ видимый невидимого Бога. Людям открыть Сокровенного, – в этом все».

«Дед мой, царевич Тутмоз, охотясь однажды в пустыне Пирамид, устал, лег и уснул у подножья великого Сфинкса, засыпанного песками в те дни. Сфинкс явился ему во сне и сказал: „Я – отец твой, Атон; я дам тебе царство, если отроешь меня из песков“. Так он и сделал; так и я делаю: отрываю Бога живого из мертвых песков – мертвых сердец».

Царь говорит:

«Три естества в Боге: Зэтут – Лучи, Неферу – Красота, Мерита – Любовь; Круг Солнца, Свет и Тепло; Отец, Сын и Мать». «Знак Атона, круг солнца с тремя простертymi вниз лучами-руками, понятен всем людям, и мудрецам, и детям».

«Все ложные боги да истребятся Единым Истинным; да вспомнят Его и обратятся к Нему все концы земли и да поклонятся Ему все народы».

«Не умащения мертвых, не бальзам, не соль, не смола, не селитра – лекарство от смерти, а милость, любовь. Милуйте друг друга, люди, милуйте друг друга, и смерти не увидите вовек!»

Царь сказал злодею, покушавшемуся на жизнь его, Иссахару израильянину:

«Ваш Бог приносит всех в жертву Себе, а мой – Себя в жертву всем».

«Глыбы гранита в каменоломнях Египта взламывают так: пробуравливают в камне отверстие, вгоняют в него деревянный клин, смачивают его водою, и разбухающее дерево ломает камень. Вот и я такой клин».

«Есть у Египтян изображенье Озириса-Сэта, бога-дьявола, с двумя головами на одном теле, как бы двух близнецов сросшихся. Я хочу их рассечь».

«Мертвая точка Египта – равновесье двух чах на весах. Я хочу его нарушить».

«Как мало я сделал! Поднял крышку гроба над Египтом и знаю, после меня крышка снова опустится. Но знак подан, подан знак грядущим векам!»

«Когда мне было лет восемь, я смотрел однажды, как воины складывали в кучу перед государем, отцом моим, кисти рук, отрезанные от павших в битве врагов, и мне сделалось дурно от трупного запаха. Думая о войне, я всегда вспоминаю этот запах».

«Роспись была на стене Чарукского дворца близ Фив, где я провел детство: морское сраженье Египтян с Кефтийцами; вражьи суда погибают, люди тонут, а египтяне протягивают им шесты, багры, весла: спасают врагов. Кто-то смеялся при мне, глядя на роспись: „Этаких дураков нигде не сыщешь, кроме Египта!“ Я тогда не знал, что ответить, да и теперь не знаю, а все-таки счастлив, что родился в земле таких дураков».

«Величайший царь Египта – Аменемхет, написавший на гробе своем:

Люди при мне жили в мире и милости,
Луки и мечи при мне лежали праздные».

«Ликует бог, вступая в битву и видя кровь», – сказано в победной надписи царя Тутмоза Третьего, Завоевателя, богу Амону. «Амон – бог войны, Атон – бог мира. Надо между ними сделать выбор. Я сделал».

«Будет война, пока много народов, много богов; когда же будет один Бог, один род человеческий, наступит мир».

«Мы, Египтяне, презираем Иадов, Пархатых; но, может быть, они больше нашего знают о Сыне; мы говорим о Нем: „был“, а они говорят: „будет“.

Царь сказал мне одной и не велел говорить никому:

«Я – Радость-Солнца – Ахенатон? Нет, еще не радость, а скорбь; еще не свет, а тень солнца грядущего – Сына!»

Много и других слов царя записала Дио в свитке своем; кончила же песнью Атону:

Богу Атону, живому, единому, песнь царя Ахенатона Уаэнра Неферхеперура. Если дойдет мой свиток до вас, люди грядущих веков, помолитесь обо мне в благодарность за то, что я сохранила вам эту песнь, из всех песен Господних

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
сладчайшую, да вкушу я хлеба на вечной вечери с царем моим возлюбленным,
Ахенатоном, вестником солнца грядущего, Сына.
чудно явленье твое на востоке,
жизненачальник Атон!
Когда восходишь ты на краю небес,
то наполняешь землю красотой твоей.
Всю тварь обнимают лучи твои,
Всех живых пленил ты в свой плен, –
Заключил в узы любви.
Ты далек, но лучи твои близко;
Шествуешь в небе, но день – твой след на земле.
Когда же почиешь на западе, –
Люди лежат во тьме, как мертвые;
Очи закрыты, головы закутаны;
Из-под головы у них крадут, – не слышат во сне.
Всякий лев выходит из логова,
Из норы выползает всякая гадина:
Воздремал Творец, и безглагольна тварь.
Ты восходишь, – земля просвещается:
Посылаешь лучи твои, – мрак бежит.
Люди встают, омывают члены свои,
Облекаются в ризы свои,
Воздеваются руки, молятся;
И выходит человек на работу свою.
Всякий скот пасется на пастбище,
Всякий злак зеленеет в полях,
Птицы порхают над гнездами,
Подымают крылья, как длани молящие;
Всякий ягненок прыгает;
Всякая мошка кружится:
Жизнью твою оживают, Господи!
Лодки плывут вверх и вниз по реке;
Все пути тобой открываются.
Рыбы пляшут в воде пред лицом твоим;
Проникают лучи твои в сердце морей.
Ты образуешь зародыш в теле жены,
В теле мужа семя творишь.
Сохраняешь дитя во чреве матери,
Утешаешь его, чтоб не плакало,
Прежде чем его утешит мать.
Шевелится ли птенчик в яйце своем, –
Ты даешь ему дыхание
И силу разбить скорлупу.
Выходит он из яйца, шатается,
А голосом своим уже зовет тебя.
Как многочисленны дела твои, Господи,
Как сокровенны, Единый, Ему же нет равного!
Создал ты землю по сердцу твоему,
Когда никого с тобою не было в вечности;
И человеков создал, и скотов полевых,
Все ходящее на ногах по земле
И парящее на крыльях в воздухе.
Создал Сирию, Нубию, а также Египет.
Каждый народ утвердил ты в земле его,
Каждому все сотворил на потребу.
Меру жизни и пищу отмерил им,
Разделил племена их по говору,
И по цвету лица, и по образу.
Нил извел ты из мира подземного,
да насытишь благами людей твоих;
Нил другой сотворил ты на тверди небес,
Чтобы воды его низвергались дождем,
Напояли диких зверей на горах,
И поля, и луга орошили.
Как велики дела твои, Господи!
Нил небесный ты дал чужеземцам,
Нил подземный – египтянам.
Кормишь всякий злак, как дитя свое.
Времена года ты создал для тварей своих:
Зиму – да прохлаждаются,
Лето – да вкушают тепло твое.

Создал небеса далекие,
дабы созерцать из них всю тварь свою.
Приходишь, уходишь, возвращаешься,
Итворишь из себя, из единого,
Тысячи тысяч образов:
Племена, города и селенья,
И поля, и дороги, и реки –
Видят все вечное солнце твое,
Твой восход – им жизнь, твой закат – им смерть.
Когда полагал основанья земли,
Открыл ты мне волю свою,
Сыну своему, вечно существу, от отца исходящему,
И дочери своей возлюбленной
Нефертити, Прелести-прелестей-солнечных,
Цветущей во веки веков.
Ты, Отец, в сердце моем,
И никто тебя не знает,
Знаю только я, твой сын,
Ахенатон Уаэнра,
Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный!
Кончив писать, Дио вложила свиток в глиняный сосуд, запечатала его свинцовой печатью с солнечным кругом Атона, дождалась ночи, взяла заступ и пошла в сад, к Макиной березке у Большого пруда.

В огненном вихре Шехэба деревцо увяло, листья покернели и свернулись в трубочку, но корни были еще живы. Маки вырыла его, чтобы пересадить в новую ямку со свежей землей, но, должно быть, не успела кончить работу до ночи: дерево лежало над ямкой.

Дио вырыла ее поглубже, положила в нее глиняный сосуд, зарыла и сравняла землю.

Тут же, в цветнике над прудом, цвела белая роза. В тишине апрельской ночи летали светляки, как искры. Один из них зарылся в розу, точно огненное сердце забилось в цветке. Дио подошла к нему, поцеловала его и подумала: «Если когда-нибудь люди прочтут мой свиток, то соединят Ахенатона с Дио: я буду в нем, как этот огонь в цветке».

X

Щелкнул бич, кони взвились, закачались перья на гривах, пена слетела с удил снежными хлопьями, и колесница помчалась, как вихрь. Воздух свистел в ушах: львиный хвост, прикрепленный сзади к поясу царя, и пунцовые ленты белой одежды его бились по ветру. Царь правил сам. Дио стояла за ним.

Миновали пальмовые рощи и нивы с желтыми колосьями выше человеческого роста; блеснул в последний раз далекий Нил, и грозно обняло их молчанье пустыни, необозримо расстилавшейся, то темно-бурой, то стеклянно-сверкающей.

Щурясь на лоснящиеся змеи песчаных дорог в степи, углаженных в柞кою тяжестей, Дио вспоминала ледниковый, от тепельный наст, блестевший под солнцем на Диктейской горе. Воздух струился от зноя, дрожал ослепительно. Копчик застыл в темно-, как бы черно-синем небе. Иногда пробегала по земле тень от облака, быстрая, и еще быстрее – антилопа; вдруг останавливалась, вытянув шею, нюхала ветер и потом бежала дальше, легкая сама, как ветер.

Солнце уже заходило, когда путники увидели на высокой скале Аравийских предгорий одну из пограничных плит, обозначавших Атонов удел.

Там, на круче, никому недоступной, кроме ветра, солнца да орлов, вечно навеваемые волны зыбучих песков полузысыпали, точно похоронили заживо, лики царя Ахенатона и царицы Нефертити. Только с отвесной скалы можно было спуститься к ним, вися на веревке. Так и сделал кто-то, должно быть, враг Атоновой веры, чтобы разбить их и надругаться над ними.

Царь вышел из колесницы. Черная тень от него легла на белый песок, длинная, как бы до самого края земли.

Послышался стук копыт. Подъехали великий жрец Мерира и страженачальник Маху.

– Только бы найти негодяев, тут же, на месте, убью! – воскликнул Маху с негодованьем, взглянув на поруганные лики.

– Э, полно, друг, – ответил царь, улыбаясь. – Все равно пески завеют – ничего не останется!

Маху пошел готовить ночлег: царь хотел ночевать в пустыне.

Рядом было тесное и темное, как гроб, ущелье, где, вырубленные в скалах, зияли зевы гробов царевниных. Тут же старая смоковница зеленела неувядаемо на мертвых песках и цвел шиповник с медово-розовым запахом: тайно поили их воды подземных ключей.

Царь с Дио и Мерири спустились в ущелье, чтобы осмотреть гробницы.

Кончив осмотр, пошли наверх, косогором, по узкой тропе, шакальему следу, беседуя.

– А что, Мерира, готов указ о богах? – спросил царь.

Дио поняла, что речь идет об указе, который должен был отменить почитанье всех старых богов.

– Готов, – ответил Мерира. – Только, прежде чем объявлять его, подумай, государь.

– О чем?

– Как бы царства не лишиться.

Царь посмотрел на него молча, пристально и потом опять спросил:

– Что же делать, мой друг, чтобы царства не лишиться?

– Сколько раз говорил я тебе, Уаэнра: милостив будь к себе и другим.

– К себе и другим? Разве это можно вместе?

– Можно.

– А ты, Дио, что думаешь?

– Я думаю, нельзя.

Мерира взглянул на нее исподлобья, с тихой усмешкой.

– А помнишь, Мерира, кто сказал: «я знаю день, когда меня не будет»? – спросил царь.

– Помню: бог Озирис.

– Нет, человек Озирис. Воля Отца, чтобы Сын страдал и умер за всех. Благословен Отец мой небесный! Я тоже знаю день, когда меня не будет. Вот уже наступает – уже наступил мой день. Ныне кончается царство мое, ныне исполни последнюю волю царя твоего, Мерира, сын Нехтанеба, объяви повеленье о ложных богах и о Боге едином, истинном, Ему же слава во веки веков!

– Воля твоя, государь, будет исполнена, но помни: зажжешь пожар – не потушишь...

– А ты думал, поиграем огнем и потушим? – сказал царь, усмехаясь, положил ему обе руки на плечи и опять заглянул в глаза его молча, пристально.

– Знаю муку твою, Мерира, – молвил тихо, почти шепотом. – Ты все еще не решил, друг ты мне или враг. Может быть, решишь скоро. Помни одно: я тебя люблю. Не бойся же, друг мой, враг мой возлюбленный, будь другом или врагом до конца. Помоги тебе Бог!

Обнял и поцеловал его.

Подали колесницу. Царь вошел в нее. Дио – за ним. Щелкнул бич, кони взвились, и колесница помчалась, как вихрь.

Долго Мерира смотрел ей вслед, а когда она скрылась в последних лучах заходящего солнца, он протянул к нему руки и воскликнул:

– Сам ты себе напророчил, Ахенатон Уаэнра: ныне заходит солнце твое, ныне царству твоему наступает конец!

Уже стемнело, когда, выехав далеко в горную степь, царь остановил колесницу и вышел из нее. Дио привязала коней к воткнутому глубоко в песок древку копья. Царь сел на камень, и Дио – у ног его.

Он указал ей на далекий огонь костра в степи.

– Что это? – спросила она.

– Маху, чудак, – ответил царь. – Все ходит за мной по пятам, сторожит; должно быть, боится, что убегу.

Оба замолчали. Дио ждала, чтоб он заговорил: знала, что для того и выехал с нею в пустыню, чтобы говорить наедине.

– Нужно мне тебя о чем-то спросить, Дио, и вот все не могу, нет слов, – начал он тихо, не глядя на нее.

Опять помолчал и потом заговорил еще тише:

– Знаешь, что сказал мне Изеркер, когда я спросил его, за что он хотел меня убить? «За то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Хорошо сказал, не правда ли?

– Нет, нехорошо, ведь ты себя не делаешь Богом.

– Не делаю, нет, лучше бы тому человеку на свет не родиться, кто себя делает Богом. Но это одно, а есть и другое; и одно на другое похоже, так что иногда не различить... и вдруг переворачивается; так, так, – и вдруг наоборот...

Бормотал косноязычно, путался, сбивался, искал и не находил слов; наконец, совсем запутался, махнул рукой безнадежно:

– Нет, не могу! В другой раз скажу...

Дио улыбнулась, взяла руку его и начала ее тихонько гладить, целовать, успокаивать его, как ребенка.

– Лучше сейчас скажи, Энра!

Энра было уменьшительное от Уаэнра; так называли его только самые близкие люди.

– Ты очень хорошо говоришь, я все понимаю. Ты себя Богом не делаешь, – это одно, а что же другое? – старалась она помочь ему, как школьнику, забывшему урок.

– Что другое? – начал он опять и вдруг заспешил, обрадовался. – Помнишь молитву: «Ты, Отец, в сердце моем, и никто тебя не знает, – знаю только я, твой сын»? Я это сказал и не отрекаюсь, – не отрекусь никогда. Это во мне, как звезды в небе. Но это – когда не боюсь, а когда боюсь, молю Отца: «Другого пошли, пошли другого, я не могу!» Вот и сейчас боюсь. Все думаю, что я взял на себя? Разве это человек может вынести? Ты как думаешь, Дио, может?

– Не знаю, Энра...

– И ты не знаешь?

Он взглянул на нее так, что сердце у нее сжалось. Вдруг обняла его колени и воскликнула:

– Нет, знаю: ты можешь – ты один!

Он ничего не ответил и закрыл лицо руками. Опять долго молчали.

Вызвездило. Млечный путь заклубился раздвоенным облаком, от края до края пустыни; холодно искрилось семизвездье Туарт-Гиппопотамихи, и жарко пылали стожары.

Царь отнял руки от лица и посмотрел на Дио. Тихо было лицо его, как эта ночная пустыня и звездное небо над ней. Но Дио содрогнулась: вспомнился ей Сфинкс с лицом Ахенатона: если бы человек тысячу лет промучился в аду и снова вышел на землю, у него было бы такое лицо.

– Дио, сестра моя, возлюбленная, зачем ты пришла ко мне, зачем полюбила меня? – проговорил он, ломая руки. – Мне без тебя было легче; я тогда не знал себя, не видел. В первый раз увидел в тебе и ужаснулся: кто я? кто я? Уди же! Зачем тебе мучиться со мной?

- Нет, брат мой, я никогда от тебя не уйду, я хочу с тобою мучиться!
- Из огня спаслась, и опять в огонь?
- Да, в твоем огне хочу сгореть!

Третья часть. Я не он

I

Приближались дни наводненья. Раскаленная, растрескавшаяся, черная, трупная, страшная, под страшным солнцем, земля изнывала. Нил едва сочился в тинистом русле. Люди, животные, растения изыхали от зноя. Если бы он продлился, все, казалось, сгорело бы, как в огне пожара или Шехэба.

Но, день в день, час в час, совершилось божье чудо: мать Изида заплакала над умершим сыном – иссохшим Нилом; канула в него слеза ее – звезда, предсолнечный Сириус, и овноглавый Хnum открыл источники вод.

Радостно заквакали лягушки; зашагала цапля по черному илу, точно мерила землю, как мудрый бог тот, Землемер; и мерили воду писцы Водяного приказа, от Водопадов до Устья, по зарубкам на каменных стенах водомерных колодцев, а простые люди – по крокодильим яйцам да муравьиным кочкам: выше них вода не подымается; двенадцать локтей – погибель, шестнадцать – спасенье земли.

В эти дни поехал Мерира в Нут-Амон, Фивы, на свиданье с Птамозом. Тот умолял его не медлить: был очень плох, ждал смерти с часу на час. Но Мерира, уже будучи в Фивах, все откладывал свиданье, как будто боялся чего-то.

Был тоже болен; ночью томила бессонница, а днем бродил по городу, не находя себе места. Все брезгливо морщился, как от дурного запаха. Это была одна из странных мук его болезни: всюду преследовали его дурные запахи – дохлой крысы, как в хлебных амбарах, помета летучих мышей, как в пещерных гробницах, и тухлой рыбы, как на берегу Нила, где чистят, солят и сушат рыбу на солнце. Никакие благовонья не помогали: смрад сквозь них был еще ужаснее.

Однажды, дня через три по приезде, он сидел у восточных ворот Апет-Ойзитской ограды, где лежало в развалинах гробничное святилище царя Тутмоза Третьего.

Солнце стояло в зените, лучи его падали отвесно, почти без теней. Страшный светлился, как расплавленное олово. Мерира сидел в узкой тени от венца исполинского рухнувшего столпа – двойной головы Телицы Гатор. Тень у ног его сокращалась так быстро, что, казалось, можно было следить за нею глазом: только что весь был в тени, и вот уже солнце обожгло ему ноги. Видел, как пробежал скорпион в пыльной траве; но не шевельнулся, оцепенел. Тупо ныл левый висок, точно рыбья косточка была продета сквозь глазные яблоки. Тошило. Во рту был вкус смерти.

Черные точки, как мухи, плыли в мреявшем от зноя воздухе и таяли, как червячки стеклянно-прозрачные. Один из них начал расти и вырос в дряхлого

Сфинкса с лицом Ахенатона; если бы человек промучился в аду тысячу лет и снова вышел на землю, у него было бы такое лицо. Медленно проплыл, истаял; но опять вернулся, сгустился, отяжелел, стал на четвереньки; задние лапы львиные, а вместо передних – человечьи руки. Побежал, застучал ногтями отвратительно.

Точно разрывая со страшным усилием невидимые путы на руках и ногах, Мерира очнулся, встал и пошел.

Теми же подземными ходами, как некогда Дио, спустился в большую, низкую, на низких четырехгранных столпах, гробничную палату, или святилище. Посередине стояло гробовое ложе; на нем лежал мертвец.

Сводчатая впадина в стене, где некогда на ложе из пурпурата, в сияньи лампад, покоился великий Амонов овен, была темна и пуста: он только что издох, и тело его отдали умастителям.

Мерира велел выйти двум бывшим в палате жрецам, подошел к ложу, на котором лежал мертвец, стал на колени и нагнулся к нему. Мертвец открыл глаза, живые, молодые, бессмертные; губы его разжались и зашептали, зашелестели, как сухие листья:

- Ты, Мерира?
- Я.
- Благословен будь Единый, Истинный! Семь лет ждал я тебя, сын мой, знал, что придешь, – не умру, не увидев тебя. Что же так долго не шел? Думал, не прощу? Все прощу. Ну, говори же, с кем ты, со мной или с ним?
- О, если б я знал, если б я знал, отец! Оттого-то семь лет и мучился, что не знаю, с кем. Может быть, ни с тобой, ни с ним...
- Между нами быть нельзя.
- Честному нельзя, а подлому все можно. Семь лет я только и делал, что подличал, лгал себе и другим. О, не мучай же меня и ты, отец, не спрашивай, с кем я, – сам реши!
- Если решу, не поверишь! Помнишь клятву?
- Что мне клятвы? Я преступил их давно.
- Нет, хотел преступить, но не мог. Сам знаешь, вместе вам в мире быть нельзя: или ты, или он; если не его – себя убьешь.
- Да, может быть, себя. Или так: сначала его, а потом себя... Можно, отец, убить, кого любишь?
- Можно. Тело убить, чтобы душу спасти.
- Ну вот, так я и... А может быть, и не так: не из любви убью, а из зависти. Нищий – богатому, подлый – честному, мертвый живому завидует. Сэт Озириса, брат брата, убил из зависти. Да и как не завидовать? Он есть – меня нет: он жив – я мертв. Он убивает, истребляет меня на веки веков.
- Зачем же не приходил? Что у него делал?
- Что делал? Думал, одолею, обману, запутаю в сеть, и вот сам...

Не кончил, тихо усмехнулся и спросил:

- А что, отец, хорошо ли, что Сэт убил Озириса?
- Что спрашиваешь? Сам знаешь: не хорошо для людей, слепых щенков. Озирис – жизнь, Сэт – смерть для них, а для нас, мудрых, не так. Мучимый мучает, закланенный заколает, убитый убивает мир. Озирис – Аменти – вечный запад, солнце мертвых, конец мира: он над миром взойдет, и потухнет солнце живых; бог с сердцем небьющимся мир победит, и сердце мира биться перестанет. Благ, и благостью свою ловит мир, как птицу – птицелов. Говорит: «жизнь вечная», и вот, вечная смерть. От начала мира Сэт с Озирисом борются, но

- Как похоже на него говоришь, отец! Один волосок отделяет тебя от него...
- Да, истину от лжи отделяет один волосок. Знаешь тайну? Был Озирис первый – будет второй, этот – только тень Того: этот сказал – Тот сделает.
- Что сделает?
- Погубит мир.
- А может быть, мир за Него погибнет и счастлив будет?
- И ты будешь счастлив?
- Может быть, и я.
- Так любишь Его?
- Люблю. Разве можно Его не любить? Он прекраснее всех сынов человеческих. Знал диавол, чем людей соблазнить. Люблю и тень Его, царя Ахенатона; люблю и ненавижу вместе. И он это знает – знает, что хочу его убить...

Птамоз молча снял с руки своей перстень и надел его на руку Мериры.

Царь Тутмоз Третий, працадед царя Ахенатона, подарил этот перстень великому жрецу Амона, Хатузенебу. Чашечка с ядом была в нем под огненно-желтым карбункулом – «Амоновым оком». Царь завещал, умирая, отравить этим ядом того из царей Египта, кто изменит Амону.

– Дух мой на тебе да будет, сын мой, и дух Сокровенного! – молвил Птамоз, положив руки на голову Мериры. – Отныне великий жрец Амона – ты, Мерира, сын Нехтанеба. Горе врагам твоим, Господи! Тьмою покрыто жилище их, вся же земля во свете твоем; меркнет солнце тебя ненавидящих, и восходит солнце любящих.

Замолчал, закрыл глаза и долго лежал, не двигаясь. Вдруг слабый трепет пробежал по телу его. Глубоко-глубоко вздохнул; грудь поднялась, опустилась и уже не подымалась. Но ничто не изменилось в лице.

Долго Мерира вглядывался в него, не мог понять, жив он или мертв. Взял руку – холодна; пощупал сердце – не бьется.

Кликнул жрецов и сказал:

– Великий ясновидец, Урма, пророк всех богов юга и севера, великий жрец Амона, Птамоз, вознесся к богам!

II

- Дело начато, надо кончать; нечего плакать над прокисшим молоком, как сказала одна умная девушка, сделав то, чего исправить нельзя, – проговорил вельможа Айя, и все рассмеялись.
- Скоро ли выйдет указ об истреблении богов? – спросил Тута.
- Дней через десять, – ответил Пареннофер, хранитель царской печати.
- Поторопить бы, – возразил Тута. – Ведь с этого все и начнется...
- Как бы только не началось такое, что нам и голов не сносить, – пробормотал начальник царского дома, Ахмес.
- Чего же милость твоя бояться изволит? – опять спросил Тута.
- Мало ли чего. С богами шутки плохи...
- Ну, боги сами за себя постоят, а нам о своей шкуре подумать надо. Все мы в этой проклятой дыре, уделе Атона, как мыши в мышеловке, и деваться некуда. Перережут нас, как баранов, когда уравненье начнется...

- Какое уравненье?
- Будто не знаешь? Царь только о том и думает, как бы уравнять бедных с богатыми. А ну как и вправду подымется чернь?
- Нет, черни я не боюсь, – возразил Ахмес. – Чернь-то, пожалуй, и с нами будет, а вот наш же брат, сановник, носы нам чик-чик...
- «Лучше с головой без носа, чем с носом без головы», как говорил один удалец, которому нос отрезали, – сказал Айя, и все опять рассмеялись.
- А с Заакерой как быть? – спросил Пареннофер.
- Да никак: с ними эфиоплянка справится, – возразил Айя.

У Заакеры, наследника, было триста шестьдесят пять жен, по числу дней в году, одна лучше другой, но он, как уверяли, предпочитал им всем старую, безобразную эфиоплянку, которая, будто бы, была его по щекам и делала с ним все, что хотела.

– Никому верить нельзя, – заключил Ахмес, оглядывая всех угрюмо. – Слово царя Аменемхета помнить изволите? «Брату не верь, друга не знай, ибо в день страха нет стражи. Я подавал милостыню нищему, хлеб – голодному; но евший хлеб мой поднял на меня пяту свою». И еще кто-то неглупо сказал: «Где шесть заговорщиков, там один предатель».

Все замолчали, переглянулись: их было больше, чем шесть.

Собрались в Тутином летнем доме, только что достроенном, но еще необитаемом, в верхнем жилье, где никто не мог помешать: дом окружен был садом, затопленным теперь, во время половодья, так что можно было подъехать к крыльцу только на лодке.

Тута, встречая гостей, подводил их к плите омовений, усаживал на низкое, широкое и длинное, во всю стену, крытое коврами ложе, предлагал благовонную шишку для головы и придвигал поставец с прохладительными напитками в тинтирийских сосудах из освежающей пористой глины.

Ночь была темная, жаркая: жаркий ветер, пахнувший водою, тиною, рыбою, дул внезапными порывами; где-то очень далеко, как будто на краю света, запевал он свою унылую песенку, похожую на волчий вой или детский плач, – все ближе, ближе – и вдруг налетал с бешеным свистом, визгом, ревом, гулом, грохотом, и так же мгновенно затихал: слышно было только, как плещется вода о стены дома да листья пальм шуршат за окнами, словно кто-то шепчется.

Дверь, в одно из таких заташний, открылась беззвучно, и вошла в нее, как тень, огромная черная кошка, полупантера. Подойдя к Туте, начала она ластиться к ногам его с громким мурлыканьем. Он встал, чтобы закрыть дверь, но в нее вошел Мерира.

Тута кинулся к нему навстречу, хотел поклониться в землю, как великому жрецу Амона; но тот обнял его и поцеловал в уста. Хозяин начал усаживать гостя на почетное кресло, но Мерира сел рядом с ним, на пол, медленно, с тихой усмешкой обвел всех глазами и сказал:

- Продолжать извольте, господа, я слушаю.
- Речь за тобой, отец: как велишь, так и будет, – возразил Тута.
- Нет, сами решайте. Все ли знают, зачем собрались?
- Все.
- Ну, так и говорить больше не о чем.
- «Нечего плакать над прокисшим молоком!» – повторил Айя и, помолчав, прибавил: – Лучше, чтобы один человек умер за всех, нежели, чтоб весь народ погиб.
- Кто же подаст чашу? – спросил Мерира.

– Трое, по чину возлияний, могут подать: ты, я или Тута, – ответил Айя. – Не кинуть ли жребий?

Кошка, глядя на высокое, под самым потолком, длинное и узкое, как щель, окно с палочкой каменной решеткой, жалобно-яростно мяукала. Вдруг огромным, через всю комнату, прыжком, как настоящая пантера, прыгнула к окну, вцепилась когтями в решетку, прильнула к ней мордой и хотела просунуть лапу, но не могла: решетка была слишком частая. Замяукала еще яростнее, жалобнее, соскочила на пол и заметалась по комнате, черная, гладкая, скользкая, как змея.

– Что с нею? – сказал Мерира. – Уж не взбесилась ли? Вон как зубы скалит, глаза точно свечи горят. У-у, дьявол! И охота держать в доме такую гадину. Берегись, Тута, вцепится тебе когда-нибудь, сонному, в горло!

– Чует, должно быть, кого-нибудь, – проговорил Айя, глядя в окно.

– Да кому же быть? Вода кругом, не пройти. Птица разве или обезьяна, – сказал Тута.

Только что ревевший ветер вдруг опять затих, и сделалась такая тишина, что слышно было, как за окном плещется вода о стены дома да листья пальм шуршат.

– А может быть, они!.. – прошептал Пареннофер, бледнея.

– Кто?

– Неупокоенные. Гробы-то нынче недаром оскверняют. Много, говорят, всякой нечисти по ночам бродит.

– Ох, не надо, не надо об этом! – взмолился Тута, чувствуя, что у него от страха начинает болеть живот.

– Да выгони же, выгони ее, сделай милость! – воскликнул Мерира с отвращением.

Тута схватил кошку за ошейник и потащил вон из комнаты. Но она не шла, упиралась. Он едва с нею справился; наконец, вытащил и запер дверь на задвижку. Но и за дверью она продолжала мяукать, скрестись.

– Ну, так о чем, бишь, мы? – начал опять Мерира.

– О жребии, – напомнил Тута.

– Да. Не знаю, как вашим милостям, а мне кажется, умным людям недостойно быть рабами случая. Вольно решим. Айя, хочешь ты? Нет? Тута? Тоже нет? Ну, так, значит, я.

В глубине горницы был бронзовый жертвенник с деревянным складнем – изображением царя Ахенатона, приносящего жертву богу Солнца. Мерира подошел к нему, взял складень, ударил им об угол жертвенника так, что складень раскололся пополам, и воскликнул:

– Горе врагам твоим, Господи! Тьмою покрыто жилище их, вся же земля во свете твоем; меркнет солнце тебя ненавидящих, и восходит солнце любящих. Ахенатону Уаэнра, богоотступнику, смерть!

Все повторили, соединив руки над жертвенником:

– Смерть богоотступнику!

Мерира подошел к Туте, взял его за руку, подвел к креслу, усадил и сказал:

– Бога всевышнего, Амона-Ра, царя богов, первосвященник, пророк всех богов юга и севера, великий тайнозритель неба, Урма Птамоз завещал мне, умирая, избрать царем всей Земли Тутанкамона, сына царя Небмаара Аменхотепа, сына Горова. Все ли согласны, мужи-братья?

– Все. Да живет царь Египта, Тутанкамон!

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
Нефехепера, царский ризничий, подал Мерире золотую солнечную змейку, Уту.

– Властью, данной мне от Бога, венчаю тебя царем всей земли! – произнес Мерира, возлагая змейку на голову Туты.

– Царь да живет! – воскликнули все, падая ниц.

Вдруг лицо Мериры исказилось.

– Кошка опять! – прошептал он, уставившись в темный угол палаты.

– Кошка? Где? – спросил Тута, быстро оглядываясь.

– Вон, в углу, видишь?

– Ничего там нет.

– Да, ничего. должно быть, почудилось...

Он провел рукой по лицу и усмехнулся:

– Заги, Хехеки, пантеры сокологлавые, крылатые, с человечьим лицом на спине, с распускающимся лотосом вместо хвоста, с брюхом в острых сосцах, как в зубьях пила, – много, говорят, по ночам этой нечисти бродит... А может быть, ничего и нет? Бабы сказки, бабы сказки... Хехеки-хехеки! – вдруг тихо рассмеялся он таким страшным смехом, что у Туты мороз прошел по спине. – Вон, вон, опять, смотри! Только это уж не кошка, – это он, Уаэнра! Видишь, какое лицо, дряхлое, древнее, вечное. Если бы человек промучился в аду тысячу лет и снова вышел на землю, у него было бы такое лицо... Сматрите на меня, смеется – знает, что хочу его убить, думает, не смею... А вот, погоди-ка, ужо тебя!

Пошатнулся, едва не упал. Все кинулись к нему. Но он уже оправился. Лицо его было почти спокойно, только в углу рта что-то дрожало непрерывною дрожью и тихая усмешка кривила губы.

Вдруг за окном раздался неистовый визг, вой; листья зашуршали, и что-то тяжело шлепнулось в воду.

Все побежали в нижние сени, выходившие в сад, и увидели плававшую в воде окровавленную кошку с распоротым брюхом.

– Плохо дело, – сказал Айя.

– Почему плохо? – спросил Мерира.

– Кто-то подслушивал.

– Что из того?

– Как что? Царю донесут.

– Пусть. Я его лучше вашего знаю: своими ушами услышит, своими глазами увидит и не поверит, – нам же головой выдаст доносчиков.

– Отложить бы?.. – робко начал Тута; у него так болел живот от страха, что он едва стоял на ногах и даже свою любимицу Руру жалеть позабыл.

– Отложить! Отложить! – заговорили все.

– Трусы, подлецы, изменники, – закричал Мерира в ярости. – Если отложите, я сам донесу!

– Да ведь мы же для тебя, Мерира, – сказал Айя. – Болен ты, лечиться надо...

– Вот мое лекарство! – воскликнул Мерира, указывая на перстень с ядом, блестевший на руке его. – Как решили, так и будет: через три дня – всему конец!

– Не суди меня, Боже, за грехи мои многие, я человек, самого себя не разумеющий! – шептал Мерира.

– Что ты шепчешь? – спросила Дио.

– Ничего.

Он стоял на носу лодки, держа в руках двуострый гарпун, а она, сидя на корме, гребла коротким веслом или отталкивалась, на мелких местах, длинным шестом. Плоскодонная лодка-душегубка только для двух пловцов, такая шаткая, что нельзя было пошевелиться в ней, чтобы не накренилась, связана была из длинных папирусных стеблей, залитых горной смолой.

На Мерире был древний охотничий убор; двулопастный передник, шенти, из белого льна, широко-лучистое, из бирюзовых и корналиновых бус, ожерелье, приставная бородка из черного конского волоса и парик мелко- кудрявый, черепитчатый; все остальное тело – голое; в таком убore воскресшие охотятся в блаженных полях Иалу, в папирусных чащах загробного Нила.

Млечно-белое небо раннего утра чуть-чуть сквозило голубизною невинною, как улыбка ребенка сквозь сон. Тихи были воды Нила, как воды пруда: утреннее веянье – так слабо, что гладь реки еще не рябила; но уже реяли по ней, как птицы, лодки с широко раскинутыми парусами. Медленно плыли плоты сплавляемые с Ливана кедров и сосен. Маленькие, как муравьи, человечки волокли бечевой огромный дощаник с гранитным обелиском и пели унылую песню; тишина от нее казалась еще тише, и гладь реки – еще беспредельнее. Белые домики Города Солнца, рассыпанные, как игральные кости, в узкой зеленой полосе пальмовых рощ, исчезали вдали.

– Что с тобой? – спросила Дио Мериру. – Весел, счастлив? Нет, не то... Никогда я тебя таким не видела!

– Хорошо выспался, – ответил Мерира. – Часов шесть спал без просыпа.

Жадно вздохнул всею грудью. Был уже рад, когда пахло только пометом летучих мышей, а не дохлой крысой и не тухлой рыбой; а сегодня – какая радость! – ничем, только утренней свежестью.

– да и все хорошо, – заговорил еще радостнее. – Вон какое половодье! Разве не хорошо?

– Хорошо, очень! – согласилась она.

– Шутка сказать, шестнадцать локтей восемь пяденей, этакой воды лет десять не видано! – продолжал Мерира. – Земля спасена, если только бунтовщики на юге не перережут каналов. Вон, смотри, ослик в поле не смеет ступить ногою в канавку, – перешагнул, умница, – а люди глупее ослов!

Помолчал и прибавил:

– Сон мне хороший намедни приснился...

– Какой?

– О тебе. Будто ты маленькая, и я тоже: вместе гуляем в каком-то чудесном саду, лучше Мару-Атону, – настоящий рай, и ты будто мне говоришь что-то хорошее. Проснулся и подумал: как сказала, так и сделаю.

– Что же сказала?

Он покачал головою, молча.

– Опять нельзя сказать?

– Нельзя.

Отвернулся, чтобы не увидела, что слезы блеснули у него на глазах.

– Не суди меня, Боже, за грехи мои многие, я человек, самого себя не разумеющий! – прошептал, как давеча.

Вдруг ударили в воду гарпуном с такою силою, что лодка едва не зачерпнула, и дно вскрикнула. Когда вынул гарпун из воды, на обоих зубьях его трепетало по рыбе: на одном – ин, с прямоугольным, похожим на крыло, спинным плавником, волшебно отливавшим рубином, сапфиром и золотом, а на другом – ха, с чудовищной головой муравьеда, посвященный богу Сэту. Сбросил обеих рыб к ногам ее, и долго она любовалась, как они бились, умирая.

- Почему ты говоришь, что меня таким не видала? – спросил.
- Не знаю. Ты все смеешься – усмехаешься, а сегодня, кажется, вот-вот улыбнешься. Совсем как...
- Как кто?

Она замолчала, потупилась; хотела сказать: «совсем как Таму», но вдруг сделалось страшно и жалко – жалко и этого, как того.

- Тоже нельзя сказать? – спросил он, улыбаясь.
- Нельзя.
- Вон, вон, смотри! – указал он на что-то валявшееся на песчаной отмели, похожее на черно-зеленое осклизлое бревно.
- Что это?
- Крокодил. На ночь зарылся в песок, а теперь вылез, будет греться на солнце; а в полдень, как подует северный ветер, – разинет на него пасть, чтоб прохладиться. Умная тварь. А от ибисова пера цепнеет, и тогда можно с ним делать все, что угодно.

Говорил нарочно о другом, чтобы скрыть волнение, но продолжал улыбаться, совсем как Таму.

Лодка врезалась в чащу папирусов. Зонтичные верхушки их затрепетали, как живые; зашуршали, зашелестели стебли и, раздвинутые носом лодки, наклонились, как две высоких, зеленых стены. Горьким миндалем и теплой водой пахли желтые цветы амбаки, сладким анисом – розовые лотосы, некхэбы. Непрерывным звоном звенели голубые стрекозы над плавучими листьями. Ихневмон, остромордый зверок с торчащими усиками, полукрыса, полукошка, крался по спутанным стеблям папируса, а птица-матка, порхая над гнездом, отчаянно хлопала крыльями, чтобы отогнать хищника. Вдруг где-то очень далеко раздался как бы трубный звук: то ревел гиппопотам, выбрасывая воду из ноздрей водометом, как кит.

Тучами носились водяные птицы: священные цапли-бэну, с двумя, на голове, откинутыми назад длинными перьями; священные ибисы, лысоголовые, белые, с черным хвостом и черными концами крыльев; дикие утки, гуси, лебеди, журавли, колпики, зуйки, лысухи, удоды, потатухи, пустошки, чемги, нырцы, шилоклювки, пеликаны, бакланы, бекасы, гоголи, чибисы, сорокопуты, рыболовы, дождевестники и множество других. Все это пело, щебетало, чирикало, кричало, крякало, скрипело, свистело, свиристело, кудахтало, курлыкало, вавакало.

– Вепвэт! – позвал Мерира, и огромная, рыжая, с изумрудными глазами, охотничья кошка, спавшая на дне лодки, прыгнула к нему, села рядом с ним, на носу, и навострила уши.

Он бросил изогнутую, плоскую, из носорожьей кости дощечку, оружье незапамятной древности. Она полетела, ударила в цель и, описывая в воздухе дугу, вернулась, упала к ногам его. Кошка прынула в чащу и принесла убитую птицу. Бросил опять – опять принесла, и скоро лодка нагрузилась дичью так, что начала тонуть.

Подплыли к островку, отовсюду окруженному высокими, втрое выше человеческого роста, ярко-зелеными, райски свежими стенами папирусов. Древле мать Изида вскормила младенца Гора в таком папирусном гнезде.

Причалили и вышли на берег. Здесь, протянутые на кольях, сушились рыбачьи сети. Под навесом из сухих пальмовых листьев было камышовое ложе. Дио села на него, и Мерира – у ног ее. Кошка жадно ела рыбу.

- Нюх у нее, пожалуй, не хуже, чем у покойной Руры, – сказал Мерира.
- Как покойной? – удивилась Дио.
- А ты разве не знаешь? Убили намедни бедняжку. Тута плакал о ней, как о родной дочери, заболел от горя.
- Кто же убил?
- Не знаю. Ночью нашли мертвую в саду. Кто-нибудь взлез на дерево и подслушивал в окно, а она учゅяла, кинулась на него, и он распорол ей брюхо ножом.
- Да кто ж это был?
- Сыщик, должно быть, страженачальника Маху.
- Не может быть. Маху знает, что Тута верный раб царя. Кому за ним нужно следить?
- Мало ли кому. Все мы при дворе только и делаем, что друг за другом следим.
- И ты за мной?
- И я. Помнишь, ты обо мне говорила с царем, ночью, в пустыне? Я все знаю – знаю, что ты меня предаешь.

Он посмотрел на нее долго, пристально.

- Нет, Мерира, – сказала она тихо, – не я тебя предаю, а ты сам себя. Обманываешь себя: хочешь ненавидеть его и не можешь – любишь...
- Не знаю. Может быть, и люблю. Но ведь и любовь бывает зла – злее, чем ненависть. Сказано: крепка любовь, как смерть; лята ревность, как преисподняя; стрелы ее – стрелы огненные, великие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Ты это знаешь?
- Знаю. Ты и меня любишь так?
- Что тебе до моей любви? Зачем спрашиваешь? Обмануть хочешь?
- Нет. Если бы и хотела, не могла бы: мы друг о друге знаем все.
- Все ли? Конца души не найдешь, пройдя весь путь, – так глубока.
- Конец души – любовь: кто любит, знает все... Мучаешься очень?
- А ты меня очень жалеешь? Знак плохой: женщины, кого жалеют, не любят.

Помолчал и потом заговорил, не глядя на нее, изменившимся голосом:

- Я о тебе и другой сон видел, нехороший. Только не знаю, сон ли. Может быть, ты знаешь, что это было, сон или не сон?

Она опустила глаза, чувствуя на себе его взгляд: точно пауки забегали по ее голому телу; стыдно было и страшно, как тогда, во сне.

- Нет, Дио, я тебя не люблю. Чтобы любить женщину, надо ее чуть-чуть презирать. Я мог бы тебя любить, сонную, мертвую, – вот как тогда, во сне. Ты тогда говорила: «Сладко быть слабой, сладко быть только женщиной!» А ведь этого ты наяву не скажешь? Зачем же лжешь? Все-таки – женщина: от одежды моль, а от женщины лукавство женское. Если бы ты сказала тогда «уйди», я ушел бы. И теперь уйду – только скажи...

Она положила ему руки на плечи и сказала тихо, просто:

- Слушай, брат мой, из-за меня уже погибло трое; я не хочу, чтобы и ты погиб...

– Не из-за тебя, не бойся: я и до тебя его ненавидел.

долго молчала она; наконец, спросила еще тише:

– За что ты его ненавидишь?

– Будто не знаешь? да ты что, веришь, что царь Ахенатон и есть тот, кому должно прийти?

– Нет, я знаю, он только тень Его.

– А ведь сам-то он верит?..

– Нет, и сам не верит. Это твой соблазн, твоя сеть, но он уже разорвал ее...

– Не разорвал, – не разорвет никогда! Я соблазнил его, говоришь? Да разве без него самого я мог бы его соблазнить? Я только сказал, что он думал; тайну его ему же открыл. И разве можно сказать: «Я – Он», и покаяться? Кто кого соблазнил, он – меня или я – его, не знаю. Но все равно, нет на земле соблазна большего, как человеку сказать: «Я – Бог». Да, этот – только тень Того; этот сказал: «Зажгу огонь», а Тот зажжет. Но, может быть, еще успеем потушить...

– Нет, не потушите. Его огонь – любовь: «любви не потушат и великие воды», это ты сам сказал. Нет, Мерира, ты на него не восстанешь!

– Думаешь, боюсь его?

– Не его, а Того, Кто за ним.

– Лжец, убийца, дьявол – вот кто за ним. Если бы он и сам пришел, я на него самого восстал бы!

Вдруг зеленые стены раздвинулись, и выплыла царская лодка. Царь стоял на корме с Маху и что-то говорил ему, указывая на островок.

– Сматрят, смотрят на нас, – прошептал Мерира в ужасе. – Спрячемся!

Оба зашли за чащу папирусов. Лодка проехала мимо.

– А ведь, кажется, твоя правда, Дио, я на него никогда не восстану, – молвил Мерира с тихой усмешкой и провел рукой по глазам, как бы просыпаясь от сна. – Может быть, на себя восстану, но не на него...

И, помолчав, спросил:

– Не скажешь ему, о чем мы с тобой говорили?

– Не скажу, – ответила она и, взглянув на него, поняла так ясно, как еще никогда: «Он враг».

IV

Заакера давал пир. Столпная палата дворца, где собирались гости, выходила на открытые сени, а сени – на реку. Пальмовидные столпы с чешуйчатым, по золотому полю, узором из разноцветных стекол искрились в огнях многолампадных свещников – пылающих кустов, точно изваянные из драгоценных камней, а между ними зияли черные провалы в ночь. Там ржавый серп ущербного месяца сиял на зубцы Ливийских гор свой темный свет и тускло-медным столбом отражался в черной зыби реки, так широко разлившейся, что трудно было поверить, что это река, а не море.

Ночь была тихая, но, как часто во время половодья, свежая. Тихое, с севера, веянье веяло так ровно, что огни лампад наклонялись, все в одну сторону.

Синий, с золотыми звездами, сквозил потолок сквозь белые дымы курильниц, как настоящее небо сквозь облака.

Гости сидели полукругом в свободном от столпов четырехугольнике: царь – посредине; справа от него – наследник Заакера с супругой, старшей царевной Меритатоной; потом – Рамоз, Тута, Айя; а слева – царица; рядом с нею было

пустое место для Мериры, еще не пришедшего; далее – Маху, Дио и другие. Члены царского дома и старшие сановники сидели в креслах и на складных стульцах, а младшие – на полу, на коврах и циновках.

Внутри полукруга стоял большой, круглый, на одной ножке алебастровый стол; на нем – хлебы в виде пирамид, конусов, шаров и священных животных; блюда с яствами, закрытые свежими листьями от мух, и груды плодов; исполинские, в локоть длиною, гроздья ливийских лоз, редкие плоды шахарабы, пятнистые, как шкура леопарда, и червоно-золотые, яйцевидные, с четырехлепестковой чашечкой плоды персеи, такие душистые, что их нюхали вместо цветов. Вокруг стола возвышались четыре увитых цветами, деревянных, из перекрещенных планочек, поставца с пивами и винами.

Девочки-нубиянки в белых одеждах из прозрачного льна – «тканого воздуха» или совершенно голые, только с узким поясом немного выше пупа, разносили в чашках яства и питья. Мясо, нарезанное мелкими кусками, ели пальцами, умывая руки в душистой воде после каждого блюда. Пиво и вино сосали через камышовые трубочки.

Непрерывно колыхались опахала из страусовых перьев и мухогонки из шакальных хвостов: если бы остановились, заела бы ночная мошара.

На голове у каждого гостя была наполненная благовонием мастью чашечка с продетым под нею стеблем лотоса, так что цветок свешивался на лоб. Медленно, от жара огней и теплоты тела таявшая масть стекала на белую ткань одежд, оставляя на ней жирные, желтые полосы; чем больше их было, тем лучше: значит, гость употреблен. Когда же масть истощалась, девочки подавали новую чашечку, предлагая на выбор «царское помазанье», Кэми, или «росу богов», Анти, от которой кожа лица золотится и оно становится подобным утренней звезде.

- Где же Мерира? – спросил царь.
- Обещал быть, да вот что-то не идет. Все ему неможется, бессонница замучила, – ответил Заакера, наследник, молодой человек с прекрасным лицом, грустным и тонким, как лунный серп, бледнеющий в утреннем небе.
- Что же ты его не вылечишь, Пенту? – сказал царь.
- Верное лекарство от бессонницы одно, государь, – ответил Пенту, врач.
- Какое?
- Чистая совесть.
- А у него разве не чистая?

Пенту ничего не ответил, как будто не расслышал, и все замолчали.

- Что ты мало ешь, Тута? – обеспокоился любезный хозяин. – А ведь это твоя любимая антилопа солончаковая. Нехорошо приготовлена?
- Нет, царевич, чудесно. Я много съел.
- Лжет, – ни кусочка, я сам видел! – рассмеялся царь. – Все о бедной Руре тоскует. Кто ж ее убил, так и не нашли?
- Не нашли, – ответил Тута в смущеньи.

Скоро найдут, я уже на след напал, – сказал Маху и взглянул на Туту пристально.

- Тот сидел ни жив ни мертв; взял в рот кусочек мяса и не мог проглотить.
- Что у тебя, опять живот? – спросила его шепотом сидевшая рядом с ним супруга его, царевна Анкзембатона.
 - Живот, – ответил он с тем томным видом, с каким всегда говорил о своем здоровье.
- Анки знала, что живот у него болит обыкновенно от страха.

– Чего же ты испугался?

Он молчал.

– Да ну же, ну, говори. Ах, несносный! – прошептала она яростно и ушипнула его сзади так больно, что он едва не вскрикнул.

Айя, видя смущение Туты, хотел ему помочь, но не знал, как это сделать.

Рядом с Айей сидела супруга его, великая царская мама, Тэя, тезка покойной царицы, старуха непомерно тучная, настоящая жаба, с багрово-сизым, в рыжеволосых бородавках, лицом, в огненно-рыжем парике, Ханаанской новинке, и в рукавичках из золотой кожи, новинке Хеттейской, бессмысленной в жарком Египте; щеголяла ими на всех торжествах. Ее считали полоумной, но она была умна и хитра; злая сплетница, особенно в делах любовных.

Подали ибисовы яйца всмятку. Их вообще не ели, потому что ибис – священная птица бога Тота. Но тут ели все, в угоду царю, чтобы высказать презренье к ложному богу.

Тэя взяла целых три яйца. В рукавичках было неудобно есть: запачкалась желтком, что, впрочем, было не очень заметно среди желтых полос от благовонной масти.

– Аита! Аита! – вдруг произнесла она громко, в наступившем молчанье, когда все занялись яйцами, и засмеялась странным для ее толщины, тоненьким смехом: точно зазвенела жаба серебряной трелью.

Айя взглянул на нее и понял, что надо делать. Начал рассказывать о хорошенъкой Аите, жене одного из царских вельмож, изменявшей мужу, под самым носом его, так смело и ловко, что всем это было известно, кроме него.

– Поела, обтерла рот и говорит: «я ничего дурного не сделала!» – заключил Айя рассказ.

– Как? Как? – засмеялся царь. – «Поела, обтерла рот...» – несколько раз начинал он и все не мог кончить от смеха.

– Обтерла рот и говорит: «я ничего дурного не сделала!» – повторил Айя.

– А еще как ты говоришь? «Нечего плакать...» – опять начал царь и не кончил.

– Нечего плакать над прокисшим молоком! – кончил Айя.

Тута был спасен: Руру забыли.

В это время Дио шепталась со страженачальником Маху.

– А что, если не придет? – спросила она.

– Придет непременно, – ответил Маху. – Сколько у тебя спрятано?

– Триста.

– Хватит.

– Не сказать ли царю?

– Боже тебя сохрани! Если только узнает, все пропало, ничему не поверит. Надо обличить негодяя... А вот и он!

Вошел Мерира. У Туты потемнело в глазах.

– Он, он, наконец-то! – воскликнул царь, вставая навстречу Мерире.

Усадил его рядом с царицей и начал расспрашивать о здоровье. Мерира отвечал спокойно, почти шутливо. Но когда нубиянка поднесла ему благовонную чашечку, он оттолкнул ее и брезгливо поморщился.

Девочки-певицы и игральщицы на лютнях, флейтах, бубнах и систрах уселись на

Мережковский Д. Мессия filosoff.org

полу, в кружок. Посредине стала Мируит, ученица Пентаура, привезенная дио из Фив. Смуглого-янтарное тело ее сквозило сквозь льющиеся складки прозрачного льна. Крошечным казалось под огромною шапкою тускло-черных, напудренных синей пудрой, волос личило некрасивое, прелестное и опасное, как змеиная мордочка.

Девочки заиграли, запели:

Сладкая, сладка ты для любви!
Краше всех жен,
Краше всех дев;
Волос чернее ягод абедовых,
Зубы ярче кремней солнечных,
Губы – цветок нераскрывшийся,
Руки – ветви тонкие;
Два цветущих венца –
Груди чуть выпуклы,
Сосцы – благоухание!

Мириуит плясала «пляску чрева». Верхняя часть тела оставалась неподвижной, а нижня – быстро-быстро двигалась, все на одном и том же месте. Голова закинулась, губы открылись, глаза потемнели – умерли, а тонкий стан извивался, как жало змеи; чрево подымалось, опускалось, и узкие, детские бедра двигались все тише, тише, как бы удлиняя миг последних содроганий. Если бы и вправду, на глазах у всех, она делала то, что изображала пляска, это не было бы так невинно-бесстыдно.

Женщины опустили глаза, а мужчины улыбались, отбивая ладошами лад. И девочки пели:

Пленила ты сердце мое,
пленила ты сердце мое
одним взглядом очей твоих.
О, как любезны ласки твои!
Лучше вина лобзанья твои,
благовонье мастей твоих
лучше всех ароматов!

Когда Мириуит кончила пляску, хор слепцов, тех самых, что пели на празднике Солнца, вошел в палату. Сели на пол и запели под звуки арфы:

Роды родами сменяются;
солнце восходит, солнце заходит,
ноздри всех утренний запах вдыхают,
пока не отыдет в место свое человек.
Никто не вернется оттуда, не скажет,
что за гробом нас ждет.
Радуйся же, смертный, дню твоему,
пока не наступит день плача!
Слышал я о том, что постигло праотцев:
стены гробниц их разрушены,
гробы их запустели, как гробы нищих,
всеми покинутых,
и место их не узнает их:
были они, как бы не были.
Радуйся же, смертный, дню твоему!
Умастись мастями благовонными,
вязи вей из лотосов для плеч твоих
и сосцов сестры твоей возлюбленной;
услаждайся песнями и музыкой,
все печали забудь,
помни только о радости,
пока не приchalит ладья твоя
к Брегу Молчания!
Песнь умолкла, и свежее повеяло веянье ночи из черно зиявших между столпами провалов; ниже склонились огни, все в одну сторону, как будто вошел в палату кто-то невидимый.

– Хороша песенка? – спросил Заакера.

– Нет, царевич, не хороша, – ответил Пангезий, человек без возраста, похожий на скопца, второй великий жрец Атона, начальник царских сыщиков, кроткий изувер, «святой дурак», по слову Аии.

- Чем же нехороша?
- Тем, что безбожна. Если в ней правда, тщетна вера наша.
- Я бы тебе ответил, мой друг, если бы пристойно было говорить невеждам перед лицом мудрого.
- Говори, Заакера, – сказал царь. – Я люблю тебя слушать. Ты говоришь, что многие думают, но не говорят, а мне и горькая правда любезнее лжи.
- Слушай же, Пангезий, – начал Заакера. – Пусть говорит о небесном с неба сошедший сын Солнца, а я скажу о земном. Все мы – вчерашние, и ничего не знаем, потому что дни наши на земле – тень. Всем участь одна, праведному и неправедному, добруму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы. Нет у человека преимущества перед скотом: все изошло из праха, и все отыдет в прах. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, мертвые счастливее живых, а счастливее всех, кто никогда не рождался.
- Что же делать нам, родившимся? – спросил Пангезий.
- В песне отвеченено: радуйся, смертный, дню твоему, но помни: тихость бога с небьющимся сердцем – лучший удел.
- Благодарю покорно, хозяин любезный, употчевал! – рассмеялся Айя. – Да я куска не проглочу под этакую песенку!
- Отчего же, мой друг? Память о скорби в радости – что в блюде соль.
- Так-то так, да всякая приправа хороша в меру, а тут пересолено.
- Нет, это не соль, – произнес врач Пенту тихо, как будто про себя.
- Не соль, а что? – спросил Айя.
- Яд, – ответил Пенту еще тише.

Маху взглянул на Мериру. Тот сидел, опустив голову и почти закрыв глаза, с лицом неподвижным, как у спящего или мертвого.

- Что же ты молчишь, благой? – воскликнул Пангезий, обернувшись к царю.
- Молчу, потому что сказать нечего: он прав, – ответил царь.
- Авинька, авинька миленький, вот хорошо сказал! – восхитилась царевна Меритатона и захлопала в ладоши.

Все посмотрели на нее с удивлением.

- Что это значит, государь? – пролепетал Пангезий.
- Это значит, мой друг, что если нет Бога, то человек хуже скота, потому что скот не знает конца своего, а человек знает.
- Но ведь есть Бог.
- Есть. Все говорят, что есть, но делают, как будто нет. А не читал ли ты, сын мой, что мы дадим страшный ответ за пустые слова? Прав и Пенту: в песне яд. Но ведь и яд может быть лекарством. Два конца у песни: один «ешь, пей и умри», а другой «накорми голодного, напои жаждущего...». Но об этом лучше не говорить: Бог – родник в пустыне; запечатлен для говорящего, открыт для безмолвного. Вот Мерира молчит, и прав, правее нас всех. Не сердись же на нас, болтунов, молчальник наш милый, прости!

Мерира ничего не ответил, только взглянул на царя, и лицо его осталось неподвижным, как у спящего или мертвого.

Вдруг, в тишине, с крыши Атонова храма послышались медленно-мерные гулы тимпанов, как будто забилось в ночи огромное, медное сердце.

– Слава богу незримому, солнцу полночному! – возгласил Мерира. – Сокол могучий, ширококрылый, оба неба пролетающий, чрез небо подземное спешащий в беге недреманном, чтобы утром взойти на месте своем, самый тайный из тайных богов! Жизнью твою оживают мертвые; даешь ты дыхание ноздрям недышащим, расширяешь горло стесненное и сущим в смерти свет несешь, и, прославляя тебя из гробов своих, воздевают усопшие длани свои, веселятся под землею сущие!

Давеча, когда послышались гулы тимпанов, Maxu и Дио вышли в соседнюю горницу. Он подошел к стене, постучал в нее тихонько и приложил к ней ухо. Изнутри послышался такой же стук. Каменная глыба в стене повернулась, как дверь на оси, открывая темную щель. Стены дворца были двойные; между ними был тайник; никто о нем не знал, кроме царя, Maxu и Рамоза.

Из открывшейся двери вышли беззвучно, как тени, царские телохранительницы, амазонки хеттеянки. Карлик Иагу выскочил за ними, подбежал к Maxu и спросил шепотом:

- Где они?
- кто?
- Тута, Мерира.
- А тебе зачем?
- Никому их не отдам, задушу своими руками!

Иагу был убийца Руру: взлез тогда на дерево и подглядел в окно, подслушал все, что говорилось и делалось у заговорщиков. Он и донес на них.

- Молодец, Иагу! – сказал Maxu, положив руку на голову его. – Ростом с ноготок, а сердце львinoе. Только вот что, друг мой: если хочешь спасти царя, пальцем их не тронь, слышишь?
- Слышу, – ответил Иагу, скрежеща зубами.
- Скорей, скорей! – заторопилась Дио.
- Не бойся, успеем, – проговорил Maxu спокойно. – Ты ступай к царю, а я подожду здесь. Закричишь – выбежим.

Дио вернулась в палату к гостям. Ни Туты, ни Айи там уже не было. Царь, стоя у жертвенника, шептал про себя молитву. Дио стала за ним против Мериры.

Немного поодаль от жертвенника стоял поставец с хлебами, плодами и винами. Мерира подошел к нему и начал готовить чашу с вином для возлияния.

Потом вернулся к жертвеннику, держа чашу в руках. Дио заметила на правой руке его перстень с карбункулом; раньше его не было.

Глаза их встретились. «Кто же выпьет чашу?» – прочел он в ее глазах вопрос. «А вот увидишь, кто», – прочла она ответ в его глазах.

Он подошел к царю и сказал:

– Царь Уаэнра, Сын-Солнца-Единственный, свет от света, дух от духа, плоть от плоти солнечной, чашу жизни прими, испей чашу бессмертья, побеждающий смерть!

Подал чашу царю. Но, прежде чем тот успел ее взять, Дио вырвала ее из рук Мериры и кинула на пол.

- Что ты делаешь? – воскликнул царь.
- Вылила яд, государь. Он хотел тебя отравить, – ответила Дио и закричала: – Maxu! Maxu!

дверь распахнулась, и в палату вбежали хеттеянки под предводительством Маху. Одни окружили царя, другие заняли сени и стали на страже у дверей; большая же часть их пробежала в соседнюю палату. Там начался бой с отрядом мадиамских наемников.

– Бунт! Спасайте царя! – кричали сановники и метались по комнате, ища выхода, чтобы бежать.

Вдруг загрохотали удары в ту дверь, откуда выбежали хеттеянки. Обе половинки дверей затрещали, закачались на петлях; их рубили топорами изнутри. Никто не ожидал нападения с тылу. Хеттеянки едва успели кинуться к дверям. Здесь начался новый бой.

Засвистели стрелы и копья. Одно копье ударило в винный поставец. Он упал, звеня разбитой посудой. Опрокинулся свящник – пылающий куст, и на полу вспыхнули циновки.

– Горим! горим! – кричали сановники, но ничего не делали, чтобы потушить пожар.

Девочка нубиянка схватила ковер и накинула его на пламя, так что оно сразу потухло.

Стрела пронзила благовонную шишку на голове Тэйи и сорвала с нее парик, обнажив лысое темя. Но старуха сидела невозмутимо, даже рукавичек не сняла, как будто для нее и бунт входил в придворный чин.

Мириут, раненная копьем в живот, лежала на полу, в луже крови, царапала пол ногтями и скалила зубы, точно смеялась, а узкие, детские бедра ее двигались все тише и тише, как будто кончая давешнюю пляску любви.

Может быть, хеттеянки не выдержали бы натиска мадиамитян, если бы в последнюю минуту перед бунтом половина их не изменила заговорщикам.

Шум боя начал затихать. Бунтовщики отступали. Жены победили мужей. Все произошло так внезапно, что гости не успели опомниться.

Вдруг в палату вошел легко раненный в левую руку Рамоз, волоча за собой Туту. Бросил его к ногам царя и закричал:

– Вот, государь, главный злодей: для него и этот старался, – указал он на Мериру и обернулся к Туте: – Признавайся, подлец, или убью, как собаку!

Занес над ним нож. Царь схватил его за руку:

– Брось нож!

Но тот, не выпуская ножа и весь трясясь от злобы, проворчал:

– Опять простишь?

– Прошу или нет, воля моя, а ты брось нож!

Силой отнял у него нож и отбросил.

– Горе! Кто сам себя губит, того и Бог не спасет, – продолжал ворчать старик и тяжело опустился в кресло, ослабев от раны. Тута валялся в ногах царя.

– Правду он говорит? – спросил его царь.

– Не я, не я, государь, видит Бог, не я... – пролепетал Тута, указывая пальцем на Мериру.

Тот стоял поодаль, не двигаясь, с таким безучастным лицом, как будто ничего не видел и не слышал. Кто-то скрутил ему веревкой руки за спину.

Царь подошел к нему и спросил:

– Ты хотел меня убить, Мерира?

- Хотел.
- За что?
- За то, что ты готовишь путь Сыну погибели.
- Разве мы не вместе готовили?
- Нет, не вместе.
- Зачем же ты мне лгал?
- Чтобы дело твое уничтожить.
- А на Него за что восстал?
- Можно мне тебя об одном просить, государь?
- Проси.
- Не спрашивай меня ни о чем и казни скорей.
- Нет, Мерира, я тебя не казню.
- Простишь, как Туту? – молвил Мерира и усмехнулся, как будто брезгливо поморщился. Говорил, опустив глаза; вдруг поднял их, заглянул прямо в глаза царю и сказал:
- Делай, что знаешь, но помни, Уаэнра, если не ты меня, то я тебя...

Не кончил, но царь понял: «я тебя убью».

Положил ему руки на плечи, тоже заглянул прямо в глаза его и проговорил с тихой улыбкой:

- Помни и ты, Мерира: что бы ни случилось, я тебя люблю!

▼

Царь узнал позже всех, что царевна Макитатона беременна. Она сама призналась ему в этом, но не сказала, от кого, и так умоляла не расспрашивать, что он пожалел ее, успокоил:

- Не хочешь говорить, не надо; скажешь, когда захочешь.

Обвинял себя во всем: «Если б я любил ее больше, этого бы не было!» Был несправедлив к себе: всех дочерей любил, а Маки больше всех.

Думал, что знает царица, от кого дочь беременна; но не знала и она. Может быть, только царевнина няня, старушка Аза, кое-что подозревала, но скорее дала бы себе вырвать язык, чем сказала бы.

Странные слухи ходили по городу: будто бы царевну обольстил бродяга, беглый раб, а может быть, и сам Изеркер, Изка Пархатый; это ему и не так трудно было сделать, потому что за царскими дочерьми надзор был плохой: видели, как царевна Макитатона выходила ночью одна в пустынью через потайную дверь в садовой стене Мару-Атону. И прибавляли не без злорадства, что Пархатые очень довольны: от царевны-де родится ихний царь, Мессия.

Однажды принесли во дворец карлика Иагу, избитого до полусмерти. Он подрался с толпою уличных оборванцев, глазевших на непристойный рисунок, сделанный углем на стене: шесть царевен стояли в ряд, а внизу была надпись:

Нас, маленьких, шесть,
Сами мы – крошки,
А большущие головы –
Словно гири из олова
Или тыквы на грядках.
Подгибаются ножки,
Шатаемся на пятках:
Трудно нам головы несть.

Тыквоголовых нас шесть.

Рядом был другой рисунок: царевна Макитатона с огромным животом, и надпись:

Вот она, царевна-шлюха.
Нагуляла себе брюхо;
За царевной едут сваты,
А жених ее – Пархатый.

Царь позволил Маки жить уединенно в женском тереме Мару-Атону, ожидая родов. Здесь проводила она целые дни в совершенно темной, точно подземной, горнице с закрытыми ставнями и занавешенными окнами: страдала болезнью, находившей на нее и раньше, припадками, – светобоязнью. Свет дневной резал, как ножами, не только глаза ее, но и все тело; если луч солнца проникал в щелку, стонала, кричала, как от нестерпимой боли.

Старшая царевна Меритатона – Рита, супруга Заакеры, была неразлучна с Маки. Сестры-погодки – одной было пятнадцать, другой четырнадцать – нежно любили друг друга, хотя были несхожи, как день и ночь.

Маки уступила Рите жениха своего, Заакеру, страстно любившего ее и любимого ею: дала обет девства богу Аттису. В горной пустыне, неподалеку от Мару-Атону, находилась часовня бога. По ночам слышались оттуда завыванья радевших скопцов, подобные вою шакалов.

Дней десять спустя после Заакерова пира Маки и Рита сидели, поздно вечером, в саду Мару-Атону, в Водяной палате, узкой, длинной беседке на пальмовидных столпах, с лабиринтом из одиннадцати водоемов. По отлогим стенкам их была роспись: водяные растения, лотосы, папирусы; казалось, что они растут из воды; а над ними, тоже в росписи, – гранатовые кусты и кущи виноградных лоз. Тут же были цветники живых цветов.

Рита и Маки полулежали на подушках, у самой воды, под кустом белых, алых и розовых роз.

– Раньше зачем не сказала, дура? Можно бы сделать выкидыши, а теперь вон какое брюхо: пожалуй, поздно, – молвила Рита, щупая Макин живот, как опытная бабка-повитуха. Чудовищным казался этот живот беременной женщины у маленькой девочки, почти ребенка. – Снадобье есть у эфиоплянки, Заакеровой наложницы. Хочешь, спрошу? Может, и теперь еще можно.

– Ох, Рита, не надо, не надо об этом!

– Ну, ладно, не скули... О чём, бишь, я? Да, насчет Анки. Анки хочет к Туте бежать. В тюрьме-то молодцы недолго насидались, в Нут-Амон бежали: должно быть, подымут восстание... Нет, я бы их не выпустила так: тут же на месте убила. Да сановники наши все – подлецы, изменники...

Говорила нехотя, видимо, думая о другом. Вдруг усмехнулась, как будто вспомнила что-то веселое:

– Шиха – умница! Знаешь, что он о царе говорит?

Шиха был великий жрец, скопец бога Аттиса.

– Что? – спросила Маки. При имени Шихи чуть-чуть вздрогнула, и Рита это заметила.

– Царь, говорит, так живет, как будто все на свете хорошо, а ведь не все хорошо!

– Не все хорошо? – повторила Маки и сдвинула брови, с детским усилием стараясь понять.

– Помнишь, как умирала Юма? – продолжала Рита. Юма была маленькая черная рабыня, умершая от укуса тарантула. – Посерела, побелела вся, точно плесенью подернулась, как осенние мухи, и трупом от нее запахло, еще от живой. А третьего дня у самых стен Атонова храма кто-то осрамил пятилетнюю девочку, задушил и тело выбросил свиньям. Разве это хорошо? А царь живет так, как будто ничего этого нет. Может быть, для Бога и все хорошо, но ведь царь не Бог; люди говорят, что Бог, да сам-то он знает, что не Бог!

Помолчала, подумала и заговорила опять:

- Плакать не умеет, а без слез не проживешь: сладость слез – сладчайшая...
- Это Шиха говорит? – спросила Маки.
- Нет, я... а может быть, и Шиха, не помню... Что такое Солнце-Атон? Искра во тьме: дунет смерть, и солнце потухнет. Мрак больше света; мрак сначала, а свет потом. Может быть, Бог во мраке живет...

Вдруг засмеялась:

- А ведь и ты у меня умница: света боишься, любишь мрак. Не в отца дочка!

Маки слушала жадно, иногда порывалась что-то сказать, но слова замирали на губах ее, только смотрела на сестру широко открытыми глазами; похожа была на связанного по рукам и ногам человека, который ждет удара.

- Ну, полно киснуть, пойдем! Прогуливаться надо, это для брюха полезно, – сказала Рита, подняла ее, как будто грубо, а на самом деле нежно-бережно, и повела в сад.

Падали сумерки. Небо было ясно, а по земле полз туман. Наводненье только что схлынуло; кое-где лужи еще не успели просохнуть. С мокрых листьев падали капли. Лягушки квакали восторженно. Головокружительно пахли цветы. Вдруг туман порозовел от невидимо всходившего месяца.

Подошли к Большому пруду, где росла Макина березка. Как засохла тогда, в огне Шехэба, так и не могла оправиться. Все вокруг цвело, зеленело, а она стояла мертвая, только кое-где на голой ветке чернел сморщеный лист.

Маки обняла тонкий, бледный ствол и прижалась к нему щекой.

- Бедная, бедненькая! – прошептала с такою нежностью, как будто прощалась с мертвью.

- А-а, примету вспомнила! – сказала Рита, усмехаясь. – Если кто деревцо посадит и оно засохнет, то и человек умрет. Ну, и умрешь, не беда – зато родишь. Вот послал Бог счастье, кому не надо. Да я бы десять раз умерла, только бы родить!

Обойдя Большой пруд, подошли к Лотосному прудику с Атоновой часовней на островке и перекинутым к ней мостиком. На воде белел огромный, еще не распустившийся лотос. Тут же была привязана лодка. Рита вскочила в нее, увидела на дне садовый нож, взяла его, срезала цветок и отдала Маки, а нож спрятала за пазуху.

Вернулись в Водянную палату и сели на прежнее место.

- У Шихи давно не была? – спросила Рита.
- Давно.

– А я к нему часто хожу. Любопытно. Настоящий блудилищный дом. Все наши сановницы тоже туда повадились. Эти старые бабы, скопцы, – отличные сводни. Ну, да и сами любят женщин, а тем это нравится. «Ласки скопцов, – говорят, – как соленая вода: чем больше пьешь, тем больше жажды. Страсть у мужчин – миг, а у скопцов – вечность. Святая любовь, непорочная!» Видела, как обезьяны в клетке ласкаются? А люди еще пакостней... А моя-то обезьянка, Заакера, тоже туда бегает, хорошенъких девочек ловит. Шиха и меня соблазняет: «Хочешь, – говорит, – на брачное ложе к богу? Бог к тебе сойдет в ночи, как жених к невесте!» Ну, да я не дура, чтоб гуся в мешке покупать. Смерд какой-нибудь, Изка Пархатый, вместо бога, придет и осрамит... Помолчала, потом опять заговорила, глядя ей прямо в глаза:

- Удивительно! Как же не узнать, от кого беременна! Да я бы подлеца со дна моря достала. А Шиха-то ведь знает, кто к тебе тогда приходил. Хочешь, припугну его, – скажет?.. Ну, что ж ты молчишь? Говори, хочешь?
- Делай что знаешь, только не мучай, не мучай так! Лучше уж сразу! – простонала Маки, дрожа и бледнея, как в пытке. Рита чуть-чуть отшатнулась и тоже вздрогнула.

– Что сразу? Что сразу? Думаешь, все знаю и только дразню, играю, как кошка с мышью? А может, и знаю, может, и знаю... Да что ты, чего испугалась? Может, и ты знаешь?.. А-а, поймала! Говори же, говори, кто приходил? Он?

– Да, он, Заакера, – ответила Маки, как будто спокойно, глядя ей тоже прямо в глаза. – Ну что ж, убей, мне все равно...

Рита выхватила нож из-за пазухи и далеко отбросила его. Закрыла лицо руками и долго сидела так, не двигаясь потом отвела их от лица и положила на плечи Маки.

– Ну вот, хорошо, что сказала, а то ведь, пожалуй, и вправду убила бы. Куклу-то Анкину помнишь?

Рита и Анки, маленькими девочками, подрались однажды из-за глиняной куклы, уродливой, но страстно обеими любимой. Рита отняла ее у сестры, а та вырвала у нее из рук и разбила об стену вдребезги. Тогда Рита кинулась на Анки, как бешеная, и впилась ей зубами в горло; едва оттащили ее сбежавшиеся мамы. А ночью ушла потихоньку в сад и наелась ядовитых ягод – «паучьих яиц», едва не умерла.

– Бес в меня тогда вошел. Вот и теперь тоже. Все мы, дочки, в отца – одержимые... да, хорошо, что сказала. Все теперь хорошо – кончено! Только сама на себя я дивлюсь: думала, скажешь – убью; а вот, ничего. Глупые девчонки из-за куклы подрались, а ведь, пожалуй, и не стоит. Жен-то у Заакеры знаешь сколько? Овцы в стойле, рыбы в садке, а мы у него в тереме. Чем же мы лучше других? Ты мне жениха отдала, а я тебе – мужа, вот и расплатились начисто, и дело с концом. Заживем душа в душу, как прежде, – лучше прежнего. Детку родишь – мальчика, девчонки не надо, – вместе будем нянчить... Что ж ты опять молчишь, куксишься? Или не веришь?

– Верю, а только страшно...

– Чего?

– Не знаю... Ты-то меня простишь, да я сама замучаю себя, загрызу, вот как ты тогда Анки... Ох, Рита, Рита, милая, зачем ты меня сразу не убила давеча? Уж лучше бы сразу!

– Вздор! Все простится, забудется, только бы жить да любить. А ты ведь любишь меня – больше любишь, чем прежде?

– Больше, больше! До смерти люблю, – оттого и умру, что так люблю. Знаешь, Рита, если очень любишь, нельзя жить – такая радость...

– После того полюбила так? – спросила Рита и чуть-чуть усмехнулась.

Маки ничего не ответила, спрятала лицо на груди ее и заплакала.

– Ну, ладно, конечно, – сказала Рита сухо. – Пора домой, вон роса какая.

Взяла ее под руки и повела осторожно, как повитуха роженицу.

Вошли в терем. Рита уложила сестру в постель и села рядом; ждала, пока заснет.

– Не уходи, – сказала Маки.

– Не уйду, не бойся, лягу здесь рядом.

– Правда, любишь? – шепнула ей Маки на ухо.

– Нет, совсем не люблю, ни капельки... Ах ты, глупая девчонка, да если б не любила, разве мучила бы так?.. Ну, полно болтать, спи!

– Нет, погоди, что я хотела?.. Да, я ведь наверное не знаю, кто тогда приходил. Давеча сказала, что он, Заакера, а ведь не знаю, – может быть, и не он...

– А кто же?

– Тот, кого ждала. Усомнилась, не поверила – за то теперь и мучаюсь, в муке умру, а когда умру, может быть, Он и придет...

– Ну, полно, не надо об этом, спи. Хочешь, сказку скажу?

– Скажи, – ответила Маки уже сонным, детским голосом.

– Жил-был царь с царицей, – начала Рита нараспев, как старая няня Аза, сказку об Очарованном Царевиче. – Вот раз помолились они, и боги дали им сына. И когда он родился, пришли семь Гатор назначить ему судьбу и сказали: «Этот человек умрет от крокодила, змеи или собаки». И царь, узнав о том, огорчился очень, очень. И велел построить башню в горах и поселил в ней царевича. И было ему там хорошо очень, очень...

Замолчала, прислушалась к ровному дыханию спящей, поцеловала ее в глаза, чтобы снились хорошие сны, и вышла из комнаты.

Старая старушка Аза, царевнина няня, выйдя в сад из душного терема, где томилась бессонницей, и, увидев что-то мелькнувшее между стволами деревьев, белое, как призрак, испугалась, подумала: «Уж не Тэйя ли?» Знала, что покойная царица ходит по ночам. Но, узнав царевну Меритатону, быстро бежавшую, окликнула ее. Та остановилась, оглянулась, но ничего не ответила, побежала дальше и скрылась за чащай кустов.

Как ни привыкла Аза к царевним причудам, все же удивилась, а потом вдруг опять испугалась, но уже по-иному: что-то почудилось ей в белом призраке непризрачно-жуткое.

Побежала за нею, но старые ноги плохо слушались. Долго бегала, искала, кликала, но той и след простыл.

Встретила садовника.

– Видел царевну?

– Видел.

– Где?

– На Лотосном пруду, в часовне.

– Что она там делает?

– Не могу знать.

– Ну-ка, пойдем, посмотрим.

Подошли к часовне. Внутрь ее садовник войти не посмел. А старушка как вошла – завопила, выскочила, едва не сбила садовника с ног и, продолжая вопить, повалилась наземь.

Он вошел в часовню и увидел, что царевна висит на медном шесте завесы перед жертвенником. Петлю сделала из оторванного шнура, но так неискусно, что узел на шее ослаб, соскользнул, и тело, повиснув неровно, уперлось носком левой ноги в угол опрокинутой скамьи, на которую встала она, чтобы перекинуть петлю через шест.

Когда садовник перерезал шнур и вынул шею царевны из петли, она уже не дышала, и страшно посиневшее лицо ее было так неподвижно, что он подумал: «Удавилась до смерти!»

Маки видела сон, будто бы лежит на брачном ложе, на высокой башне, в звездном небе, и ждет Еgo, как тогда во храме Аттиса; знает, что Он придет, и лицо Еgo будет как месяц – ночное солнце, не жгучее, не страшное, и как лицо того бога, чье имя «Тихое Сердце».

Проснулась, позвала:

– Рита!

Оглянулась – никого; только месяц смотрит в окно, яркий, как ночное солнце.

Вдруг далеко в саду послышались крики. Маки вскочила, выбежала в сад, прислушалась. Крики доносились все ближе и ближе. Люди с факелами бегали, кричали.

Маки побежала на факелы. Люди несли что-то длинное, белое. Маки с воплем кинулась вперед. Люди расступились. Месяц осветил лицо Риты, и Маки упала без чувств.

Рита была жива, только в глубоком беспамятстве. Ее спасли, но она была долго больна, при смерти, как в детстве, когда наелась «паучьих яиц».

А у Маки в ту же ночь начались муки родов, и к утру благополучно разрешилась она от бремени сыном.

VI

На дворе был сияющий день, а в спальной палате Мару-Атонова терема с закрытыми ставнями и занавешенными окнами – темная ночь; только позолота столпов тускло мерцала в тусклом свете лампад.

Посредине палаты, на четырех ступенях, стояло точенное из слоновой кости и черного дерева, раскрашенное и раззолоченное ложе – чудовище, помесь гиппопотама и крокодила, на львиных лапах, с разинутой пастью: оно сторожило спящего; чем оно страшнее, тем ему спокойнее. Странно-выпуклое, круглое, жесткое, с деревянной, вместо изголовья, лункой, ложе казалось неудобным, а на самом деле было удобнее всех других, потому что давало свежесть в жаркие ночи, когда пуховики и подушки невыносимы.

На ложе лежала больная царевна Макитатона. На четвертый день после родов сделалась у нее родильная горячка.

В душной темноте пахло лекарствами. Врач Пенту толок в каменной ступе сложное снадобье из сорока шести составов, соответственных такому же числу кровеносных сосудов в человеческом теле. Кроме лекарственных злаков, тут были ящеричная кровь, сера из свиных ушей, порошок из головы и крыльев священного жука, Хепэра, молоко беременной женщины, гиппопотамий зуб и мушкиный помет.

А в другом углу палаты вавилонский заклинатель бесов Ашуршаратта кипятил в котле кровь только что заколотого ягненка с колдовскими травами и бормотал заклинанье от семи бесов лихорадки:

Сибити шуну, сибити шуну,
Сибит ади шина шуну!
Их семеро, семеро,
Их дважды семеро!
На небе – семеро,
В преисподней – семеро.
Ни мужские, ни женские,
Безбрачные, бездетные;
Вихри губящие,
Пощады не ведают,
Молитвы не слушают,
Злые, могучие.
Их семеро, семеро!
Но ничто не помогало – ни лекарства, ни заклинанья, ни даже целебная вода из Солнечного колодца в Гелиополе, в которой бог Ра умывал лицо свое, когда жил на земле.

Тщетно старая Аза шептала заговор:

Мать Изида кричит
С вершины гор:
«Сын мой, Гор!
На горе горит, –
Воды принеси,
Огонь угаси!»
Не угасал огонь горячки.

Тщетно царица читала над дочерью молитву Изиды-Матери. Когда скорпион ужалил младенца Гора, возопила она к солнцу, и солнце померкло, ночь была на земле, пока бог Тот не исцелил младенца и не отдал его матери. С той поры читалась над больными детьми молитва-заклятье Изиды.

– Стой, Солнце, остановись, пока дитя не возвратится матери! – повторяла царица с безумной мольбой, но знала, что чуда не будет, солнце не остановится.

Вспоминала песнь Атону:

Ты побеждаешь любовью;
Утешаешь дитя во чреве матери,
Прежде чем его утешит мать.
Но вот, не утешил.

Милуешь сына червя
И мошку в воздухе.
Но вот, не помиловал.

Царь и царица не отходили от больной, но она уже не узнавала их, бредила. Только что луч света проникал между складками занавес или в щелку открывшейся двери, металась, плакала:

– Лезет, лезет опять! Вон лапу протянул... Авињка, миленький, да прогони же его, прогони скорей! Схватит – как муху высосет... И кто это паука пустил на небо?

Царь понимал: Солнце-Атон – паук; руки-лучи – паучьи лапы.

Но чаще всего она бредила Шихой-скопцом.

– Шиха, а, Шиха, что это значит: «Мрак больше света»? Кто похулил божественный мрак? Царь Уаэнра – безбожник?.. Ах ты, обезьяна старая, как ты смеешь?.. Пить, пить! Да нет ли посвежее? давеча кипятку дали, весь рот обожгла...

Ей давали самой свежей воды из пористых тинтирийских сосудов; но она отталкивала чашу:

– Опять кипяток!

Мальчик родился раньше времени, без ногтей, без волос, слабый, бледный, как прозябшая в темноте былинка. Почти не плакал, только болезненно морщился от лампадных огней.

– Нехорошо быть младенцу без света: может ослепнуть; надо на солнце вынести, – решили бабки-повитухи.

Но только что вынесли – закричал, забился, как в родимчике; должны были унести назад в темноту. Родился врагом Солнца-Атона.

– Что сейчас на дворе, ночь? – спросила однажды Маки, очнувшись от бреда.

– Нет, день, – ответил царь.

– Краток день жизни, ночь смерти длинна, – проговорила она с тихой усмешкой, глядя ему прямо в глаза до глубины сердца проникающим взором. – Шиха говорит: «Тьма прежде света; солнечным светом тьма покрывается...» Солнечный свет увидят ли мертвые? Ты как думаешь, Энра?

Он хотел ответить, но она опять забредила:

– Курица, курица белая, на голове рыжий парик, как у Тэйи... Бежит на меня... Ой-ой-ой, всеми зубами впилась!

Царь вспомнил: белая курица была супругой того петуха, с которым играли когда-то он и царевны. А старая Аза горько заплакала: недобрый знаком казалось ей, что у птицы выросли зубы.

– Растирай ты мне, Шиха, – бредила Маки. – Царь Уаэнра мудрее всех сынов

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
человеческих; как же он смерти не знает? Живет, солнцу поет, как будто нет
смерти, все хорошо... Что-то запоет, когда узнает смерть?

Иногда казалось царю, что это больше, чем бред; как будто она его не видела, но знала, что он здесь, и для него говорила, страшным судом судила его, страшным смехом смеялась над ним.

– Энра, Энра, что же ты не молишься? – повторяла царица, как безумная, глядя на него сухими глазами без слез. – Молись же! Твоя молитва сильна: Отец услышит сына. Спаси ее, Энра!

Царь молчал. Стыдно ему было так, что хотелось кричать от стыда, как от боли; но сильнее, чем стыд, боль, смерть, был смех: «Что-то запоешь, когда узнаешь смерть?»

В эти же дни лежала и царевна Меритатона, больная, в покоях Заакеры, наследника.

Маки вспоминала о ней как о мертвой.

– Из-за меня! Из-за меня! – повторяла с тоской.

– Полно, доченька, Рита жива, – утешала ее царица.

Но она не верила.

– Нет, не обманывай, я же видела, как ее несли, мертвую...

«А ведь, может быть, спаслась бы, если бы только поверила, – думала царица. – Но как уверить, чем?.. И что это, что это было между ними? Хороша и я: мать не знает, из-за чего одна дочь удавилась и от кого другая родила... Может быть, Энра знает? Он тогда говорил с нею – должен знать».

Приступала к царю наедине, спрашивала:

– Энра, ты знаешь, кто отец ребенка?

– Нет, не знаю.

– Разве ты ее не спросил?

– Спрашивал, – не сказала.

– Как же ты не выпытал, оставил ее одну с этою мукой?

– Жалко было.

– А теперь не жалко? Энра, Энра, что ты сделал!

Мальчик жил недолго: на пятый день к вечеру умер, точно уснул.

– Где мальчик? – спросила Маки, очнувшись от бреда.

– Спит, – ответила царица.

– Ничего, я потихоньку, дайте!

Все стояли молча, не двигаясь.

– Дайте же, дайте! – повторяла Маки, оглядывая всех. – Где он? Правду говорите... Что с ним? Умер?

Царица закрыла лицо руками.

– Ну что ж, может быть, и лучше так, – сказала Маки тихо. – Скоро вместе будем.

В ту же ночь, перед рассветом, начала томиться. Уже не металась, не бредила; лежала, вся голая: легчайшая ткань давила ее; плоским, точно раздавленным, растоптаным, как былинка, казалось худенькое тельце, детское, как у восьмилетней девочки; голова с удлиненным черепом – «царская

тыковка» – закинута, глаза закрыты, лицо недвижно, и дыханье так слабо, что иногда не знали, дышит ли.

Врач Пенту подносил к губам ее круглое медное зеркало и, когда ясная медь чуть-чуть мутнела, говорил:

– Дышит.

Вдруг открыла глаза и позвала:

– Энра, где Энра?

– Здесь, – ответил царь, нагнувшись к ней, и она зашептала, зашелестела ему на ухо, как сухая былинка:

– Ставни открой!

Он знал, что она боится света, все ставни сразу открыть не посмел, только с одного окна велел откинуть занавес.

– Все, все! – прошептала она.

Все окна открыли настежь. Утреннее солнце залило палату; детские ручки-лучики бога Атона обняли голое тельце.

– Подымися! – прошептала былинка, и легко, как былинку, он поднял ее. Солнце озарило лицо ее.

– Ахенатон, Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный! – проговорила она, глядя в глаза его так, что он понял, что это не бред. – Я знаю, что ты...

Не кончила, но царь понял: «Я знаю, что ты – Он».

Вдруг вся затрепетала на руках его, как лист под бурей. Он опустил ее на ложе.

Пенту поднес к ее губам зеркало, но ясная медь уже не помутнела. И детские ручки-лучики Солнца обняли мертвую.

Плач раздался по терему. Женщины плакали, выли неистово, били себя в грудь, рвали на себе волосы, царапали ногтями лица свои до крови, как будто с восторгом отчаяния. Но все было чинно, обрядно, священнодейственно: также плакали за тысячи лет, и через тысячи лет будут плакать так же.

Царь слышал плач, но в сердце его был смех: «Ты – Он!»

VII

– Я хочу похоронить Маки по древнему обычая, – сказала царица.

– Как хочешь, так и будет, – ответил царь.

Понял, что значит: «по древнему обычая». В иероглифах и стенописях новых гробниц в уделе Атона не было ни образа, ни имени древних богов; ни молитв, ни заклинаний из древних свитков: Вхождения в свет, Отверзания уст и очей, Книги врат, Книги о том, что за гробом; ни имени, ни образа самого Озириса, воскресителя мертвых.

Как будто только теперь понял царь, что значит надпись в гробнице Мериры: «Да оживит Атон и Уннофер плоть на костях моих». Уннофер – Благое Существо, Озирис – сам царь Ахенатон. Тут был искушающий вызов: «Если ты – Он, победи смерть».

– Я не Он! Я не Он! Я не Он! – хотелось ему кричать от ужаса.

Кроткий изувер, «святой дурак» Пангезий смотрел ему прямо в глаза, как будто спрашивал: «Отречешься ли от дела всей своей жизни, солжешь ли, В-правде-живущий, Анк-эм-маат?» И читал в его глазах ответ: «Солгу!»

Лучшие умастители Фив, Мемфиса и Гелиополя, «божественные печатники, потрошители и резники», работали над телом усопшей царевны Макитатоны.

В Доме Жизни – палате умашений – днем и ночью кипели котлы, варились масти и смолы – бальзам, стиракс, киннамон, мирра и кассия; громоздились поленницы дров – сандала, теревинфа, каннаката, кедра, корицы, мастики и благовонного дерева шуу; в цельных кусках, величиной с кулак, лежали груды пунктийского ладана; пыль стояла облаком над медными ступами, где толклись порошки. Если бы непривычный человек вошел в палату, ему сделалось бы дурно от всех этих пронзительных запахов.

Тридцать дней и ночей тело потрошили, мочили, сушили, солили, смолили, коптили, квасили.

Царь следил за всем. Видел, как из длинного, косого разреза на животе внимались внутренности; вкладывался, вместо сердца, солнечный жук, Хепэр, из лапис-лазури. Слышал хруст костей, когда ломали нос и длинным кремневым крючком вылущивали мозг.

Вставили в пустые глазницы стеклянные глаза. Волосы на парике, на бровях и ресницах пригладили тщательно, волосок к волоску. Ногти на руках и ногах позолотили. К подбородку привязали узкую, плетеную, в деревянном ящичке, бородку Озирисову, потому что и женщина в воскресении становится мужчиной, богом Озириром. Наложили на чело повязку бога Ра, бога Гора – на шею, бога Тота – на уши, богини Гатор – на уста. И веретеном завертелась мумия в ловких руках пеленальщиков, завиваясь в бесконечные свивальники, как куколка в кокон.

Изготовили деревянную лунку «подглавья» с начертанной на новом листе папируса молитвой Солнцу – не новому богу Атону, а древнему богу Ра:

«Даруй теплоту под голову его. Имени его не забудь. Приди к Озирису Макитатону. Имя его – Светозарный, Сущий, Ветхий деньми. Он есть Ты».

Так из маленькой Маки вырастал великий, новый, страшный бог Макитатон.

Тут же, рядом с древней мудростью, была и детскость, дикость древняя: иероглиф змеи в надгробных надписях разрубался пополам, чтобы змея не ужалила мертвую, и подрезывались лапки иероглифных птенцов, чтоб не убежали. Положили в гроб серебряную лодочку, чтобы плавать в ней по Закатному морю; зеркало, белила, румяна, книгу сказок и шашки: мертвый мог играть в них с душой своей; а также игрушки: среди них и разбитую Анкину куклу, склеенную тщательно.

Изготовили надгробное изваяние мумии: птица Ба с человеческим лицом и ручками, душа умершего, положив их на сердце его и глядя с любовью в лицо его, говорила:

«Сердце рожденья моего, сердце матери моей, сердце земное мое, не покидай меня. Ты – Я во мне; ты – мой Ка, Двойник, в теле моем; ты – Хnum, Ваятель, изваявший члены мои».

Изготовили также Озириса Прозябающего: натянули полотно на деревянную раму, начертили на нем облик Озирисовой мумии, покрыли его тонким слоем чернозема и густо засеяли пшеницей. Семена увлажнялись, пока не проросли; тогда стебли подстригли и сравняли гладко, как садовую травку. Это зеленое, весеннее, воскресшее тело Озириса должны были положить в гробницу, рядом с телом покойника. Живые как бы учили мертвого: «Вот семя ожило – оживай и ты!»

Древний обычай нарушен был только в одном: по четырем углам гранитного гроба изваяна была вместо головы Изиды, небесной матери, голова царицы Нефертити, матери земной. Когда она узнала об этом, то в первый раз в жизни возмутилась, восстала на царя. Но поздно было готовить новый гроб.

На сороковой день после царевиной смерти выступило похоронное шествие. Домовину поставили в лодку, лодку – в сани – повозку тех древних дней, когда еще не знали колес; запрягли две пары волов, и медленно заскрипели полозья по белому песку пустыни, как по снегу.

Плакальщицы в голубых одеждах, – цвет неба – цвет смерти, – шли впереди и метали пыль над головами, с однозвучным воем, подобным вою шакалов:

– Плачьте, плачьте, плачьте, сестры! Лейте, лейте, лейте слезы, лейте без конца! На запад, на запад влеките, волы, госпожу свою, влеките на запад! Бедная, ты так любила со мной говорить; что же молчишь, словечка не скажешь? Сколько было подруг у тебя, и вот, одна, одна, одна! Ножки, быстро шагавшие, ручки, крепко хватавшие, связаны, стиснуты, скручены. Плачьте, плачьте, плачьте, сестры! Лейте, лейте, лейте слезы, лейте без конца!

Солнце заходило, когда вошли в Долину Царевен, где, вырубленные в скалах, зияли зевы гробов. Тут же старая смоковница зеленела неувядаемо на мертвых песках и цвел шиповник с медово-розовым запахом: тайно поили их подземные ключи. Пчелы сонно гудели, подобно далеким тимпанам.

Мумию поставили у входа в гробницу, и в черноте зияющего зева солнце залило ее последними лучами. Два жреца, один в личине шакалоглавого Анубиса, другой – сокологлавого Гора, стали по обеим сторонам мумии, и жрец-заклинатель, херхэб, совершая таинство Апра, отверзание уст и очей, начал читать заклинанье по свитку папируса:

– Встань, встань, встань, Озирис Макитатон! Я, сын твой, Гор, пришел возвратить тебе жизнь, соединить кости твои, связать мышцы твои, совокупить члены твои. Я – Гор, твой сын, рождающий отца своего. Гор отверзает очи твои, чтобы видели, уста, чтобы говорили, уши, чтобы слышали; укрепляет ноги твои, чтобы ходили, руки, чтоб делали.

Жрец обнял мумию, приблизил лицо к лицу ее и дохнул из уст в уста.

– Плоть твоя растет, кровь твоя течет, и здравы все члены твои.

– Я есмь, я есмь. Я жив, я жив. Я не познаю тления, – ответил другой, спрятанный за мумию жрец, как будто сама она говорила.

– Ты, бог среди богов, ты преображеный, неуничтожаемый, повелеваешь богам, – возгласил херхэб.

– Я есмь единный. Бытие мое – бытие всех богов в вечности, – ответил мертввец, и мертвые глаза заблестели, живее живых. – Он есть – я есмь; я есмь – Он есть!

Царь пал на лицо свое: понял, что этот новый, страшный бог, Светозарный, Сущий, Ветхий деньги, Макитатон, – Атона низверг.

С облегчением вздохнул он только тогда, когда тело уложили в гроб. Снова Макитатон сделался маленькой Маки.

Царь склонился к ней, поцеловал в уста ее и положил ей на сердце ветку мимозы: нежные листики-перышки должны были ответить трепетом на трепет воскресшего сердца.

Царь ночевал в шатре, в пустыне, ожидая восхода солнца для утренней молитвы у гроба.

Долго не мог уснуть. Встал, приподнял полу шатра и глянул в степь. Млечный Путь клубился раздвоенным облаком, от края до края пустыни; холодно искарилось семизвездье Туарт, Гиппопотамихи, и жарко пылали Стожары. Тишина была мертвая; только снизу, из ущелья, доносились крики сов да вой шакалов.

Снова лег и заснул.

Снилось ему, будто бы он стоит на четырехугольной площадке, срезанной вершине великой пирамиды Хеопса. Вся пустыня внизу кишит необозримым множеством человеческих голов: сколько песчинок в песке, столько голов; точно все племена и народы мира сошлись для страшного суда над ним, царем Ахенатоном. Смотрят на него; затаив дыханье, ждут. А рядом с ним вертится маленький, гаденький, черненький, – Шиха-скопец, или сам бог Тот, Обезьяна Премудрая. Он хочет его оттолкнуть и не может – весь ослабел.

Вдруг Шиха сорвал с него царский передник, шендэт, и начал сечь розгой по голому телу, приговаривая:

– Вот тебе, вот тебе, Ахенатон Уаэнра, Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный!

Сек не больно, почтительно, как должно было, по безумному разуму сна, сечь бога-царя; но чем почтительнее, тем позорнее.

И человеческое множество внизу смеялось смехом неистовыим, потрясавшим землю и небо. И солнце на небе, багровая рожа, скалило зубы, наливалось кровью от смеха; вытянув длинные лучики-ручки, сжимало их в кулаки и подносило ему кукиши.

А Шиха сек да сек, приговаривая:

– Ах, шалунишка, срамник, осрамил ты себя на весь мир! Вот тебе, вот тебе, сын человеческий, сын божий!

Царь проснулся, вспомнил сон, и страшно, и стыдно ему стало наяву, как во сне.

Долго лежал с открытыми глазами в темноте. Связывался узел в горле, дыханье стеснялось, как перед припадком падучей; уже рвался из груди нечеловеческий вопль. «Что же делать? Что же делать?» – думал с тоскою.

Вдруг отлегло, – разрешилось что-то, развязался узел в горле. Встал и вышел из шатра.

Зелено-розово было небо, зелено-розовы волны песков, такие же воздушные, как небо. И солнечно-белая, утренняя, теплилась в небе звезда. Ни человека, ни зверя, ни птицы, ни дерева, ни даже былинки – только небо да земля – бесконечный простор, воля бесконечная.

Он поднял глаза к звезде и улыбнулся. Вдруг понял, что надо делать. С такою радостью, как будто одно это слово побеждало смерть – смех, прошептал:

– Уйти! Уйти! Уйти!

Четвертая часть. Тень грядущего

I

Заакера подошел к Дио с таким искаженным лицом, что она едва узнала его. – Царь тебя ждет, ступай к нему, – сказал и хотел пройти мимо, но она остановила его.

- Государь царевич, что случилось?
- Сам тебе скажет, ступай!
- Я стою на часах, надо передать стражу.
- Нет, я за тебя постою.

Дио взбежала по лестнице на плоскую крышу Атонова храма.

Чуть светало. Небо казалось пустым, остеклевшим, как незакрытый глаз мертвеца. Воды реки отяжелели, как олово. Землю давило беспамятство. Город внизу точно вымер. Был час, когда сон людей смерти подобен, как поется в Атоновой песне:

Люди лежат во тьме, точно мертвые:
Очи закрыты, головы закутаны;
Из-под голов у них крадут – не слышат во сне;
Всякий лев выходит из логова,
Из норы выползает всякая гадина;
Воздремал Творец, и безглагольна тварь.
Мутно подводно зеленели белые стены храма. Все было мертвое; только великий жертвенник Солнца горел неугасимым огнем, и над ним солнечный диск Атона, высшая точка всего исполинского здания, тускло рдел, как бы от луча незримого солнца.

Дио увидела царя вдали, но не сразу узнала его. Сидя на ступенях, у жертвенника, он странно скрчился, поднял колени, положил на них подбородок и закрыл лицо руками.

В пыли сидят на корточках, –
вспомнился ей заунывный, как вой ночного ветра, припев вавилонской песни о
мертвых в подземном царстве.

Он, должно быть, не слышал, как она подошла, и продолжал сидеть, не
двигаясь. Окликнуть его не посмела: думала, спит.

Вдруг он поднял голову и посмотрел на нее так, что сердце у нее упало.

– А, Дио! Заакеру видела?

– Видела.

– Сказал, о чем буду говорить?

– Нет.

– Садись.

Села рядом с ним. Он взял руку ее, поцеловал в ладонь и улыбнулся так, что
сердце у нее опять упало.

– Вот и забыл. Помню, что хотел сказать, а как, забыл. Должно быть, память
отшибло припадком.

Она поняла, что он говорит о бывшем у него недавно припадке падучей.

Заломил руки так, что суставы пальцев хрустнули, и громко зевнул. Две
глубокие складки выступили около рта. Сделался похож на дряхлого Сфинкса с
лицом Ахенатона.

– Помнишь, Дио, я тебе говорил, что царству моему приходит конец? Ну, вот и
пришел. Я хочу уйти...

– Как уйти, куда?

– Куда глаза глядят, только прочь отсюда, из тюрьмы на волю... Да что ты
спрашиваешь? Лучше моего знаешь все.

– Как же уйдешь? Разве отпустят?

– Никто не будет знать, кроме вас двоих, тебя да Заакеры. Вы мне и
поможете. Он уже обещал.

– Что обещал?

– А вот, слушай. Он – убийца Маки; она от него родила. Только что
признался. Мучается так, что хочет покончить с собой, выпить остаток яда из
Меририна перстня, моего подарка. Но я ему придумал казнь страшнее: когда
уйду, будет царем.

– Разве он может?

– Не хуже моего. Да и недолго: власть передаст Хоремхэбу, наместнику
Севера. Тот не соглашается царствовать при жизни моей, а после смерти, чай,
согласится.

– Как, после смерти?

– Так, уйду – умру для всех. Никто не будет знать, что ушел, а кто и
узнает, не поверит, подумает, умер.

Дио знала, что Хоремхэб – враг Атона. Погубит ли царь дело всей своей
жизни, отдав ему власть? Хотела спросить об этом, но почувствовала, что
лучше не спрашивать.

– А уйти Заакера поможет мне так, – продолжал он. – Вместе поедем в Мемфис,
к Хоремхэбу, и где-нибудь по дороге, ночью, я выйду на берег, – только меня
и видели.

– Один?

– Один. Скину царский убор, переоденусь убом-жрецом, вот что по большим дорогам ходят, собирают подаянья на храмы, и пойду с сумой и с посохом.

– Зачем? Что будешь делать?

– Что делал всю жизнь. Помнишь, Изеркер говорил: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его»? Ну вот и буду готовить. К малым уйду от великих, от первых к последним; не услышали первые – может быть, последние услышат...

Говорил слова необычайные, но как будто со скучой. Недаром зевал; может быть, так зевают и те, в подземном царстве, «сидящие в пыли на корточках».

– Ну, что же молчишь? Думаешь, с ума сошел?

– Нет, не то...

– Говори, не бойся.

– Думаю... прости, государь, все вы, цари, как малы дети, бедной и грубой жизни не знаете. Только что уйдешь – погибнешь бессмысленно, от жажды, голода, от когтей зверя или ножа разбойника. Будешь как голый ребенок на голой земле.

– «Милостив будь к себе, Уаэнра!» Так, что ли? Помнишь, кто это сказал? Мой друг, Мерира. Нет, дио, Отец меня не покинет. Человека ли не сохранит, кто хранит сына червя и мошку в воздухе? Да и что страшнее, нож разбойника или Тутина лесть, жажда в пустыне или яд Мериры? Так, дио пророчица, или не так?

– Так. Но и еще скажу, как Мерира: царь не больше ли может сделать добра, чем нищий?

Он рассмеялся:

– Нет, ты не Мерира! Сама не веришь тому, что говоришь. Сколько лет царствовал и сколько добра сделал! Прав Рамоз: нет ничего подлеев благородных слов пустых, ничего злее добрых слов пустых. Думал осчастливить людей, небо свести на землю, и вот, осчастливили: от Водопадов до Устья льется кровь – ад на земле! Думал стереть межи полей, уравнять бедных с богатыми, и вот, уравняли: весь Египет – Селенье Пархатых, где люди живут и издыхают, как скоты, в совершенном равенстве! И всё по указу царя, В-правде-живущего, Анк-эм-маат, – славное имечко! Изеркер меня зарезать хотел, Мерира отправить, – не много ли чести? Плюнуть в лицо лгуну – вот и вся казнь... Знаешь, дио, стыдные сны, смешные-смешные до смерти?

– Знаю.

– А-а, и ты знаешь... Ну, так вот, видел я такой сон, – едва не умер от смеха. Смех над собой – смерть. «Я – Он», вот мой смех – смерть моя. Смех когда-нибудь задушит меня, как падучая... Дио, дио, если любишь меня, спаси, помоги!

– Как помочь, чем?

– Будь с нею!

Она поняла: с царицей.

– Она уже знает?

– Нет.

– Как же ты ее... обманешь?

– Обмануть нельзя, – узнает. Да только бы не сейчас, после Макиной смерти, – рана на рану, а потом, когда все будет кончено. Ты ей скажешь, ты одна сумеешь сказать так, что простит.

– Нет, не простит, а если и простит...

– Знаю, не говори! Ох, уж лучше бы не прощала! да нет, простит... Что же делать, что же делать? Остаться – себя убить; уйти – убить ее, сердце ее растоптать?.. Помоги же, будь с нею. Может быть, и спасешь. Помни, если она погибнет, то и я с нею...

– Чуда требуешь?

– Да, сделай чудо – люби. Ведь ты ее любишь? Люби же до конца. Бремя с меня сними – возьми на себя. Возьмешь?

– Возьму. Помолчала и спросила:

– Уйдешь, и больше тебя не увижу?

– Нет, только что можно будет, позову, – вместе пойдем к Нему!

Замолчал, поднял колени, как давеча, положил на них подбородок и закрыл лицо руками, заплакал.

Одной рукой она обняла голову его, прижала ее к груди, а другой – начала тихонько гладить.

Прав был Шиха-скопец: царь не умел плакать; судорожно глотал слезы, давился и весь дрожал, как от сильного озноба. Но под лаской Дио мало-помалу затих; только иногда еще вздрагивал, всхлипывал, как маленькие дети, перестающие плакать.

– Может быть, ты и права, – заговорил опять, – погибну бессмысленно. Заакера хочет себя убить; может быть, и я тоже... Дио, Дио, сестра моя, о, если б ты могла, если бы могла сказать, надо уйти или нет?

Дио знала, что нужно ответить: «Никто этого не может сказать, кроме тебя самого». Но знала также, что, если ответит так, – оставит его одного, голого ребенка на голой земле.

Крепко прижала голову его к себе и ответила:

– Надо!

Снизу затрубили трубы Атонову песнь:

Чудно явленье твое на востоке,
Жизненачальник Атон!
Мертвое небо ожило, порозовело. В мглистом ущельи Аравийских гор вспыхнул рдяный уголь, и первый луч солнца блеснул на Атоновом круге.

Царь встал, взял Дио за руку и повел по отлогому, без ступеней, всходу на верх усеченной пирамиды – великого жертвенника Солнца. Обернулся лицом к солнцу, поднял руки и возгласил:

– Славить иду лучи твои, живой Атон...

Но голос его оборвался: вдруг он почувствовал, что уже не может молиться Атону.

Упал на колени, воскликнул:

– Боже мой, Боже мой, милостив будь мне, грешному! На тебя уповаю, да не постыжусь вовек...

И забился головой о плиты, с рыданьем:

– Да не постыжусь, не постыжусь вовек!

В двадцать девятый день месяца Хойяка, декабря, в тринадцатую годовщину основания Города Солнца, в день рождества Атонова, царь пустился в путь.

Все удивлялись, что он нарушил клятву не покидать удела Атонова; удивлялись, но не очень: на то-де царь и бог, чтобы разрешать себя от

клятвы; да и пыл новой веры начал в нем остывать, по замечанию многих; недаром указ об истреблении богов так и не был объявлен, а день отъезда назначен в самый день великого праздника, как будто нарочно, чтобы его отменить.

Царь не скрывал, куда и зачем едет: в Мемфис, к Хоремхэбу, наместнику Севера, чтобы убедить его сделаться наследником вместо Заакеры. Благоразумные люди радовались: Заакеры в цари не хотели; мало-де чести иметь такого царя, которого бьет по щекам эфиоплянка; а Хоремхэб, супруг царицыной сестры Неземиты, прямой потомок великого царя Тутмоза Третьего, имел все права на престол; сами боги велели ему царствовать: «боги качали твою колыбель», как пелось в песне Амоновых жрецов. Был верным слугой царя, от всех дворцовых и жреческих происков чист; но и вере отцов не изменил, новому богу не поклонился, и враги Атона надеялись, что он уничтожит дело царя-богоотступника, восстановит старых богов.

Радовались все, кроме царицы. Разлука с мужем пугала ее: за пятнадцать лет не расставалась с ним никогда. Подозревала ли что-нибудь? Если да, то виду не показывала, покорялась безропотно. Взять ее с собой не просила — знала, что не возьмет; да и как оставить больную Риту? И сама была нездорова: мучил кашель, по вечерам знобило, и на щеках выступали два красных пятнышка.

Давно уже не видели царя таким радостным, как в день отъезда. Только, когда прощался с царицей, тень прошла по лицу его; но взглянул на Дио и опять просветлел.

Радостна была и толпа на пристани. Когда царский корабль отчаливал, белый сокол, Горова птица, закружил над ним, предвещая добрый путь.

Долго люди не расходились, глядя, как три корабля, великолепно раскрашенных и раззолоченных, — живые чуда, злато-пурпурно-бирюзовые, полуопущены, полуцветы, — несутся по «белой воде»: после разлития Нил становится белым, как «молоко Изиды».

От Города Солнца Мемфис находился в четырехстах атэрах, вниз по реке.

Царь чем дальше плыл, тем больше радовался, как будто и вправду бежал из тюрьмы на волю. Радовался, что так однообразно, тихо и просто тянутся по обоим берегам две полосы, желтая — мертвых песков и черная — плодородной земли: жизнь и смерть рядом, в вечном союзе, в вечной тихости; радовался, что медленно влачащиеся волы взрывают плугом жирные борозды, и кое-где уже зеленеют всходы ярко-весеннюю зеленью, и далеко разносится, в молчанье полей, заунывная песня пахаря.

В тридцати атэрах от Мемфиса, в четырех-пяти часах пути вниз по реке, на краю пустыни, посреди великого пирамидного кладбища, находился запустевший храм Солнца, построенный за тысячу лет до Ахенатона.

Полная луна выкатилась из-за Аравийских гор, огромная, раскаленно-красная, когда царский корабль причалил к пристани храма. Царь, Заакера и два жреца, с жертвенной утварью, хлебами предложенья, вином для возлияний и куреньями, вышли на пристань.

А единственный жрец и сторож храма, столетний старик, встретил их и заплакал, узнав, что царь хочет принести жертву: последним посетителем храма был царь Тутмоз Четвертый, дед Ахенатона.

Длинным крытым ходом прошли с пристани в храм. Здесь, на обширной кровельной площади, возвышался на подножье в виде усеченной пирамиды исполинский обелиск, Солнечный Камень, Бэн-бэн, и перед ним — жертвенник из пяти огромных алебастровых глыб, точно такой же, как в Городе Солнца на крыше Атонова храма.

Царь зажег куренья, совершил возлиянье и долго молча молился. Потом, отослав всех, сошел с Заакерой к потайным воротам, выходившим в пустыню, отдал ему папирусный свиток, отреченье свое от престола, и письмо к Хоремхэбу, в котором заклинал его спасти Египет, принять власть.

Когда Заакера поклялся, что все будет исполнено, царь обнял его, поцеловал в уста и, сняв с головы, надел на него свой царский шлем — хеперэш, с

золотою, на челе, солнечной змейкой, Утой; снял с себя также весь царский убор, облекся в одежду странствующего жреца, уаба, закинул за плечи котомку, взял в руки посох и вышел из ворот.

Полная, почти ослепительно-яркая луна стояла высоко в беззвездном небе. Угольно-черные тени ложились на белый песок, искрившийся, как снег, сапфирными искрами, и четко чернели на краю неба треугольники далеких пирамид.

Заакера смотрел на уходившего царя. Быстрым, легким шагом, точно век был нищим странником, шел он по едва заметной тропе, шакальему следу, в соседнее рыбачье селенье, Пта-Соккарис, – два десятка слепленных из ила, убогих лачуг.

Уходил – уменьшался: только что маячил зверем, и вот уже птица – мышь – муравей – точка; меньше и совсем исчез, истаял в лунном огне.

«Странно! – думал Заакера, не чувствуя, как слезы текут по лицу его. – Нет Бога, я знаю, что Бога нет, так отчего же?..»

Не кончил – вздрогнул, как будто за него кончил кто-то.

«Есть Бог! Есть Бог! Оттого он и ушел, что Бог есть!»

II

Пирамидное кладбище древних царей тянулось по самому краю пустыни, на три дня пути, от Мемфиса до Гелиополя.

Здесь некогда происходила великая битва людей со смертью; смерть победила, люди бежали, поле запустело; только пирамиды остались на нем, как осажденные, но не взятые крепости.

В самой середине кладбища, на Ростийском поле, высились три величайших из них – Менкаура, Хафра и Хуфу-Хеопса. Внутри, над царской усыпальницей, тысячу-пятьсот глыб сплочены были так, что нельзя было между ними просунуть иглы, а снаружи зеркально-гладкая облицовка известняковыми плитами была так совершенна, что пирамиды казались исполненными кристаллами. Вечные треугольники, возносясь от земли к одной точке неба, возвещали людям тайну Трех: «Я начал быть как Бог единий, но три Бога были во Мне».

Все остальные гробницы были разрушены; царские мумии выброшены и, валяясь на песке, рассыпались пылью под ногами прохожих. Только летучие мыши, гиены да шакалы гнездились в гробах. Воры грабили их тысячу лет, но всё не могли разграбить дочиста.

Как пели слепые певцы на пирах:

Слышал я и о том, что постигло праотцев:

Стены гробниц их разрушены,
Гробы их запустели, как гробы нищих,
И место их не узнает их:
Были они, как бы не были.

Тут же, в дикой скале, похожей на лежащего льва, вырублен был, неведомо кем и когда, великий Сфинкс. Лицо его было первое изваянное в камне лицо человека. Имена его: Ра-Хармаху-Солнце-на-краю-неба; Ху-Зешеп – Ужасный-Сверкающий; и Хепэр-Воскресающий.

Вечно засыпаемый песками, подымал он из них голову с таинственной улыбкой на плоских губах, чтобы увидеть первый луч восходящего солнца, и в каменных очах его был сверкающий ужас смерти – воскресения.

Неподалеку от Сфинкса находился храм, построенный тоже неведомо когда и кем. Четырехгранные столбы, потолочные брусья из таких исполнинских глыб, что трудно было поверить, что они вырублены руками человеческими – всё из черного гранита, – гладко, голо, божественно просто.

Храм не был разрушен: и разрушать в нем было нечего; но запустел, как всё кругом. Мимо проходила большая дорога из Мемфиса в Гелиополь. Постоялый двор с харчевней приютился в храме. Алебастровые плиты пола были заплеваны, и зеркала гранитов потускнели от кухонного чада.

Однажды, в конце зимы, пастухи держали ночную стражу на Ростийском поле: скотские стойла находились в пещерных гробницах по склонам соседних холмов. У самого подножья Сфинкса развели большой костер из кизяка и дурровой соломы. Ночь была холодная, степной ковыль побелел от инея.

Путники, не нашедшие приюта на постоялом дворе, присоседились к огню пастухов. Между ними был Иссахар. Когда царь Ахенатон уехал из Города Солнца в Мемфис, он отправился за ним, но, не найдя его там, начал разыскивать. Тут же был дядя Иссахара, купец Ахирам, ехавший в город Танис по торговым делам с молоденькой невесткой своей, Тавифой, и Юбра, бывший раб Хnumхотепа; раненный в Нут-Амоновском бунте, он долго болел и только теперь выздоровел.

– Благословен Грядущий во имя Господне! – говорил Юбра. – Он сойдет, как дождь на скошенный луг и как роса на землю безводную. Души убогих спасет и смирит притеснителя...

– О ком говоришь? – спросил Мерик, пастух с добрым и умным лицом, напоминавшим древнего царя Хафру, пирамидостроителя, чьи изваяния стояли в соседнем храме с харчевней. – О новом пророке, что ли?

– Нет, о Том, Кого возвещает пророк.

– Пророки пророчат, сороки стрекочат, а нам от того ни тепло, ни холодно, – проворчал болезненного вида человек с желчной усмешкой на тонких губах, Мермоз, соловар с Миурских Озер.

– Истинно так! Бедным людям от пророков пользы мало, – подтвердил поселянин Анулу, старый, шершавый, корявый, как из земли выкорчеванный и землею обсыпанный пень. Молча ел он хлебную тюрю, жуя беззубыми деснами, и кутался в овечий мех от озноба. Вдруг ожился и начал говорить с таким видом, как будто вспомнил что-то веселое.

– Сорок лет я на себе пахал, волов купить не на что, а земли у нас сколько, сами знаете, – с плат головной. А позапрошлым летом берег в половодье подмыло, сделался оползень, четверть поля в реку ухнуло, едва и домишко не сполз. Понаехали сборщики. «Недоимка, – говорят, – за тобой, Анулу, большая: десять четвертей пшеницы, десять – полбы, да ячменя – тридцать». – «Ничего у меня нет, – говорю, – потерпите, отцы!» – «Нет, – говорят, – казна не терпит, ложись!» А один из-за другого знак подает: «смажь!» А мне и смазать нечем. Разложили, отодрали. Да кстати, и женку, – очень за меня ругалась. И сослали чистить каналы, в самый лютый зной, на солончаки Сэтовы. По колено в воде, мошкара зела, трясовица трясет. Вот и сейчас, к ночи, зуб на зуб не попадает. А земляк намедни сказывал, женка померла, домишко развалился, двух сынов в ополченье забрали, а дочку сманили в блуд купцы мадиамские. И возвращаться не на что... Так вот, говорю, на что мне и пророки?

Мерик подбросил соломы в костер. Пламя вспыхнуло ярче, озаряя в черно-звездном небе лицо Сфинкса. Между львиными лапами его спала Тавифа с грудным младенцем на руках.

Тавифа значит «серна». У нее были глаза, как у дикой серны, детские, длинные, до полщеки, ресницы, и такая улыбка, что Узеру, сыну Мерика, юноше с девически нежным и грустным лицом, глядя на нее, хотелось плакать от счастья. Он смотрел на нее, точно молился: ему казалось, что это мать Изида с младенцем Гором и что Сверкающий-Ужас только для того уставил каменные очи в звездно-черную тьму, чтобы стеречь Младенца с Матерью.

– Горько пахарю, да не слаше и воину, – заговорил старичок, худенький, сухенький, похожий на полевого кузнечика, отставной сотник, Азири. – Лезет воин на гору, кладь несет на плечах, как осел, воду лакает из лужи, как пес; увидит врага – дрожит, как птица в сетях; а вернется домой, весь изранен, источен болезнями, как червями старое дерево, – работать мочи нет, а просить стыдно, – ложись да помирай!

Не сказал, но все поняли: «ни на что-де пророки и воину».

– Полно-ка, братцы, каркать, – заговорил Мерик, оглядывая всех с ясной улыбкой. – Сорок лет я на свете живу, много видел дурного, да много и

хорошего. Жизнь человечья такая, что не скажешь «совсем хороша», да и «совсем дурна» не скажешь, а так, вперемешку: плохо сегодня – завтра получше.

– Нет, лучше не будет, – возразил Мермоз. – Плохо сейчас, а будет хуже. И в древних свитках писано: даст людям Господь трепещущее сердце, истаеванье очей, изныванье души, и будут трепетать ночью и днем; днем скажут: «О, если бы ночь!», а ночью: «О, если бы день!» И небо над головами их сделается медью, а земля под ногами – железом, и прах будет падать на них, пока все не погибнут...

– Нет, не погибнут: придет избавитель и спасет погибающих, – сказал юбра тихо и просто.

– Чем спасет, мечом или словом? – спросил человечек плюгавенький, с угреватым лицом, с востреньким, красным носиком, с косыми, шмыгающими глазками, выгнанный со службы судейский писец, Херихор – Херя, по лицу видно, сутяга, ерник и ябедник.

– А по-твоему, чем? – ответил юбра уклончиво: побаивался Хери; говорили, будто он сыщик.

Тот помолчал, приложился к походной сундукке, подмигнул и сказал:

– Мечом. А нет меча, топором, дубиной. Пока богачей за горло не взять да толстых пуз не повытрясти, не отдадут, что награбили... Ну, да полно болтать, – делать надо!

– Что делать?

– Кликнуть клич по земле: «Вставай, голытьба, подымайся, грабь, бей, жги!» Загорится великий пожар, и будет небывалое: новыми богами сделаются нищие, и перевернется земля вверх дном, как вертится гончарный круг горшечника!

– Этого говорить не надо, сын мой! – остановил его Ахирам. – Даже в мыслях твоих не злословь начальника и в клети твоей не брань богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое.

– А-а, струсили? Ну, так и чесать языков нечего! – засмеялся Херя, закинув голову, поднял сундукку и вылил в рот последние капли.

– Да кто ты, кто ты такой, откуда взялся? – вдруг вспомнился юбра.

– А сам ты кто и с пророком твоим? Побродяги, чай, беглые рабы, мошенники, висельная дичь, – много мы таких видели, тьфу!

Замолчал, оглянулся на всех осовелыми, но все еще хитрыми глазками и начал опять ласково:

– Полно, старичок миленький, не сердись, хочешь, поцелуемся?.. Эх, братцы, жалко мне вас! Темные вы люди, бедные, всякий вас обидеть может, и заступиться некому. А я бедных людей вот как люблю, – душу за них положить готов!

И вдруг, нагнувшись к юбре, шепнул ему на ухо:

– Кики Безносого знаешь? Умная голова, умнее всех пророков. На Верху, говорят, опять зашевелился! Вот бы к кому пристать. Хочешь, сведу?

Юбра молча отшатнулся от него. И все молчали, как будто и вправду струсили.

Вдруг далеко в пустыне послышалось голодное рыканье льва, и псы у овчарен залились неистовыми, воющим лаем.

Мерик встал, с величавой любезностью, свойственной людям пустыни, поблагодарил гостей за беседу и пошел с двумя пастухами в сторожевой обход. А остальные начали укладываться на ночь, тут же, у костра, на теплом песке, кутаясь в меха и плащи.

Иссахар подошел к юбре, отвел его в сторону и сказал:

- Можно видеть пророка?
- Отчего нельзя? Завтра все увидят.

Иссахар помолчал, оглянулся, не подслушал бы Херя, и спросил шепотом:

- Кто он, откуда?
- Жрец-уаб, а откуда, не знаю.
- Правда, не знаешь или не хочешь сказать?
- Нет, правда.
- А имя как?
- Незер-Бата.

Иссахар знал, что Бата – одно из имен Озириса: Душа Хлеба, Плоти Божьей, дробимой людьми и вкушаемой; а Незер – Отпрыск, Сын. Незер-Бата – Сын Озириса, Второй Озирис.

- Ты израильянин? – спросил Юбра.
- Израильянин.
- Ваш Моисей – великий пророк, а этот – больше...
- Больше Моисея будет только один Человек на земле, – знаешь, Кто?
- Знаю.

Иссахар смотрел на Юбру так, как будто хотел еще о чем-то спросить.

- Сам увидишь, – узнаешь, – ответил Юбра на этот безмолвный вопрос и отошел.

Иссахар лег у костра, закутался в плащ, но долго не мог уснуть, все думал о пророке. Что-то было в словах и умолчаньях Юбры о нем подобное таинственной улыбке Ху-Зешепа, Сверкающего-Ужаса. Только перед самым рассветом начал засыпать, услышал сквозь сон далекое рыканье льва и вспомнил: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его!»

Не спал в ту ночь и сын Мерика: все смотрел, как будто молился, на мать с младенцем между львиными лапами Сфинкса.

Ослик Тавифы дремал, низко опустив голову. Пламя потухавшего костра замерло недвижно в бездыханном воздухе, длинное, тонкое, острое, как меч. Внизу, на поэмных лугах, уныло дудила дуда удода. Звезды тускнели, дрожали, как задуваемые ветром огни. Небо побелело, порозовело, и затеплилась в нем чистая, белая, как солнце, звезда. В мглистом ущельи Аравийских гор вспыхнул рдяный уголь, и первый луч солнца озарил лицо Сфинкса.

Младенец проснулся, заплакал. Мать начала его кормить грудью. Потом подняла высоко, показывая солнце. Мальчик смеялся и протягивал ручки, как будто хотел схватить солнце.

Тайна одна была в обеих улыбках – младенца и Сфинкса. Узер пал на лицо свое, поклоняясь младенцу Гору – Сверкающему-Ужасу.

Иссахар проснулся поздно, когда уже солнце взошло на высоту пальмы. Вскочил, испугался, что проспал, не увидит пророка.

Мимо него шли куда-то спешившие люди.

- Куда вы? – спросил он.
- На Иекет-Хуфу, к пророку, – ответили ему.

Он пошел за ними. По тропинке, между торчащими острыми скалами, засыпанной песками так, что нога угрозала в них по щиколку, взобрались на плоское темя

холма Иекет-Хуфу – Лучезарность Хуфу, против великой пирамиды того же имени. Стебли трав еще белели инеем в тени, а на солнце он уже таял и капал светлою, как слезы, капелью.

С высоты холма открывалась необозримая даль; уходящие до края неба, желтые, как львиная шерсть, пески; темная, до синевы, зелень поемых лугов и пальмовых рощ по реке; золотые острия обелисков Гелиопольских, сверкающиеискрами на выжженных, с голыми ребрами, аметистово-лиловых и топазово-желтых взлобьях Аравийских гор; а вблизи, прямо против холма, в солнечно-розовой мгле млеющая бледность исполинского призрака – Лучезарность Хуфу – пирамида Хеопса. Совершенные треугольники, возносясь от земли к одной точке неба, возвещали людям тайну Трех: «я начал быть как Бог единий, но три Бога были во Мне».

Люди, толпившиеся на плоском темени холма, обступили пророка так, что Иссахар не мог протесниться к нему. Тут были хромые, немые, слепые,увечные, прокаженные, расслабленные, бесноватые. Незер-Бата возлагал на них руки с молитвой, и они исцелялись. Потом он взошел на пригорок,возвышавшийся посредине площади. Солнце, вставая за ним, окружало пророка таким ослепительным, как бы из тела его исходившим, блеском лучей, что Иссахар не видел лица его. «Плоть твоя – плоть Солнца, члены твои – лучи прекрасные. Воистину, из Солнца исшел ты, как дитя из чрева матери!» – вспомнил он слова Атонова служения.

Раздался голос пророка, и вся толпа затихла так, что слышно было, как падают слезы тающего инея. Что-то было в этом голосе такое знакомое, что сердце у Иссахара забилось от неимоверного предчувствия. Он опустил глаза: боялся увидеть – узнать.

Незер-Бата говорил о втором Озирисе, о Сыне грядущем, о Том, Кого называли пророки Израиля: Мавиах – Мессия.

Иссахар поднял глаза, увидел – узнал: «Он!» – и закрыл лицо руками, как от солнца. Но не поверил глазам своим, взглянул еще раз и увидел, что пророк уже сошел с пригорка; толпа опять заслонила его.

Иссахар подошел к Юбре и сказал:

- Я хочу говорить с Незер-Батой.
- Ступай вниз, к Ху-Зешепу, он там пройдет, – ответил Юбра.

Иссахар сошел вниз и сел на песок, у подножья Сфинкса.

Солнце всходило, и медленно двигалась черная, по белому песку, тень великой пирамиды Хеопса, Лучезарности Хуфу, как тень от гребня на солнечных часах, меряя минуты – века, ход времени к вечности. «Сколько минут, сколько веков до Него?» – думал Иссахар.

Вдруг увидел Незер-Бату, сходящего к нему с холма. Встал, подошел, пал ниц и воскликнул:

- Радуйся, царь Египта, Ахенатон!

Вглядывался в лицо его, как будто все еще не верил глазам своим; узнавал – не узнавал.

Тот молча посмотрел на него, покачал головой и сказал:

- Нет, сын мой, ты ошибся, я нищий странник, Бата. А ты кто?
- Иссахар, сын Хамуила, тот, кто хотел тебя убить. Не узнаешь?

Вдруг стоявший над ним быстро нагнулся к нему, прошептал:

- Если любишь меня, молчи!

И взглянул ему в глаза. Такая власть была в этом взоре, что, если бы он сказал: «Умри», – Иссахар умер бы.

Но когда стоявший повернулся, чтобы идти, он обнял ноги его и спросил:

– Можно мне идти за тобой?

– Нет, нельзя. Ты иди своим путем, и я пойду своим: оба придем к Нему, – у Него и встретимся.

– У Него? А разве ты?..

Снова взгляделся в лицо его и обмер от ужаса: вдруг показалось ему, что это не бедный Бата, но и не царь Египта, Ахенатон, а кто-то другой.

– Кто ты? Кто ты? Богом живым заклинаю, скажи, кто ты? – прошептал исступленным шепотом.

Тот опять покачал головой, улыбнулся и указал ему на черную тень на белом песке:

– Видишь тень? Как тень от меня, так я от Него. Он идет за мной, но я не Он!

Сказал и пошел вдоль подножья Сфинкса, и тень пошла за ним. Повернул за угол, скрылся, – скрылась и тень. Только легкие следы остались на белом песке.

Иссахар нагнулся к ним, но, не смея поцеловать их, поцеловал только песок, где прошла тень.

III

В Бузирисе, городе Северного наместничества, вспыхнул бунт.

Начали его, по обыкновению, израильтяне, работавшие на кирпичных заводах, когда прекратили им выдачу рубленой соломы, нужной для подмеси в глину, и, не уменьшив числа урочных кирпичей, заставили самих ее рубить. К ним присоединились крючники и грузчики с хлебной пристани, узнав о новом воинском наборе мальчиков моложе пятнадцати лет. «Стоит ли рожать сыновей? Чуть подрастут, гонят на убой, и вы, отцы, это терпите!» – возмущались матери. Взбунтовалась и часть крепостного отряда киджеваданских наемников, получивших с месячным пайком, вместо оливкового масла для умашений, дурно пахнущее, кунжутное.

Бузирийский областеначальник, Узирмар, сын Зиамона, старый воин времени Тутмоза Четвертого, сурово подавил восстание. Со множеством других бунтовщиков схвачены были, по доносу судейского писца, Херихора, трое, будто бы, главных зчинщиков: бродяга Бата, раб Юбра и Авиноам Пархатый; под этим именем скрывался Иссахар.

«Сей окаянный Бата, безбожник и всесветный возмутитель, – сказано было в доносе, – шайку набрав подобных себе воров и разбойников, намеревался сделать возмущение не только в Бузирийской области, но и по всему Египту, проповедуя неповиновение властям, отказ от воинской службы и уравнение бедных с богатыми: сотрутся-де межи полей, и земля будет общею, и отнимется имение у богатых, и отдастся бедным. Он же, окаянный, изрыгая хулу на благого бога-царя, суесловит, будто один царь на земле и на небе – бог Ра-Атон».

Донос был сочинен ловко, хотя и безграмотно. Время было смутное. Хоремхэб, наместник Севера, только что отправился в восточную область, Гозен, усмирять восставших израильтян, которые все мечтали о втором Исходе, и отражать нападение Синайских кочевников от Великой Стены Египта. Страшные слухи доходили до Узирмара о сумасшествии, самоубийстве или убийстве царя Ахенатона, о новом возмущении в Фивах и о предстоящей войне двух соперников из-за царского престола, Заакеры и Тутанкатона.

Бунтовская шайка ложного пророка Баты могла быть первой искрой нового пожара.

Когда привели его, скованного, из тюрьмы в Белый Дом областеначальника, тот велел выйти всем и, взглянув на него, удивился: так непохож он был на злодея. Царя Ахенатона Узирмар видел только раз лет двадцать назад, и если бы сейчас увидел, не узнал бы.

- Как тебя звать? – спросил стоящего перед ним узника.
- Бата.
- А по отцу?
- Божий.
- Да ты что, шутить вздумал? Берегись.
- Нет, я не шучу. Я отца моего земного не знаю; знаю только Небесного.
- Кто ты, откуда?
- Видишь, бродяга. По всей земле хожу, а откуда вышел, не помню.
- Правда ли, что чернь бунтуешь, уравнять хочешь бедных с богатыми?
- Нет, неправда. Бунт злое дело, а я хочу добра.
- Отчего же благого бога, царя, не чтишь?
- Я царя чту, но царь не Бог; Богом будет один Человек на земле.
- Какой человек?
- Люди зовут его Озириром, а настоящего имени не знают.
- А ты знаешь?
- Нет, тоже не знаю.
- И он будет похож на тебя?
- Нет, солнце на тень не похоже.
- Он-то, что ли, и уравняет бедных с богатыми?
- Он, Он один, и никто кроме Него! Это ты хорошо сказал, брат мой...
- Я тебе не брат, а судья. Разве не знаешь, что я могу тебя казнить и помиловать?
- Казнишь ли, помилуешь, все от тебя мне дар любезный, – ответил Бата с такой безмятежной улыбкой, что Уэймар еще больше удивился и подумал: «Бедный юрод, на него и сердиться нельзя!»

Долго еще допрашивал, но ничего не добился. Был человек умный и справедливый: понимал, что большая часть доноса ложь; хотел простить несчастного, но не мог, по закону; зато приговор был милостив: легко наказав на теле, сослать на три года работы в Нубийские золотые прииски.

Так и сделали. Со множеством других осужденных отправили Бату на огромной плоскодонной барже, плавучей тюрьме, вверх по Нилу, в далекий полуденный Город Слонов, Иеб, откуда шел караванный путь через страшную пустыню, Куш. Там, в раскаленных недрах земли, в рудниковых колодцах, голые люди в цепях, старики, дети, женщины, под бичами надзирателей работали днем и ночью, без отдыха, мололи кварц на ручных жерновах и промывали золотой песок, умирая, как мухи, от жажды и зноя.

Иссахар, еще прежде допроса, бежал из тюрьмы. Хитрые сыны Израиля, подкупив тюремщиков, устроили ему побег. С ним бежал и Юбра. Наняли рыбачью парусную лодку, ветхую, дырявую, но быстроходную, и поплыли вверх по Нилу, следуя издали за тюремною баржею.

У Города Солнца обогнали ее. Иссахар, выйдя на берег, пошел прямо к страженачальнику Маху и объявил ему, что на подходящей к городу барже находится царь Египта, Ахенатон.

Маху, зная кое-что о внезапном исчезновении царя, не очень удивился, но и

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
не сразу поверил. Взял Иссахара под стражу, обещал наградить, если слова его окажутся правдой, а если нет – казнить; приказал остановить баржу и, дождавшись ночи, пошел на пристань с полсотней воинов из черного племени Маттоев, людей испытанной верности. Взойдя на баржу, вызвал главного тюремщика, велел ему привести узника Бату, вошел с ним в палубную рубку и закрыл окна и двери, поднес к лицу его лампаду и узнал царя Ахенатона.

– Мы, стражники, бывалый народ, – сказывал Маху впоследствии. – Столько навидались всего, что сердца у нас каменные. Но в ту минуту сердце во мне истаяло, как воск!

Страшно было бы ему увидеть вместо царя Ахенатона, Радости-Солнца, несчастного безумца, но страшнее было то, что он увидел: человека разумного и счастливого.

– Жизнь, сила, здравье царю! – начал он, но голос его пресекся, колени подогнулись, и, повалившись в ноги царю, он заплакал.

Царь наклонился, обнял его и сказал:

– Полно, Маху, не плачь. Мне хорошо здесь...

И, помолчав, прибавил:

– Лучше здесь, чем у вас.

Маху все еще вглядывался в него с надеждой увидеть безумца; но не увидел, и вдруг показалось ему, что он сам сходит с ума.

– Что ты говоришь, что ты говоришь, государь! Лучше тебе здесь, среди воров и убийц, чем у верных слуг твоих?

– Лучше, Маху. Брат мой, любишь ли ты меня? Знаю, что любишь. Сделай же, о чем попрошу: никому не говори обо мне и отпусти.

– Видит Бог, Уаэнра, душу мою отдал бы я за тебя, но легче мне тебя убить, чем оставить здесь!

– Убьешь, если не оставишь, – сказал царь, опять наклонился к нему, обеими руками обнял голову его и заглянул ему в глаза с мольбой.

Маху сказывал потом: еще бы минута, и он бы не вынес, лишился бы рассудка, ушел и оставил царя. Но тот склонился над ним.

– Не можешь? – прошептал, как будто задумавшись, и посмотрел на него так, что сердце в нем опять истаяло, как воск. – Ну что ж, нечего делать, пойдем!

Вышли из рубки на палубу. Царь сел в носилки. Воины подняли его и понесли во дворец.

IV

Дио проснулась, открыла глаза и увидела: тусклое золото пальмовых листьев в венцах столпов уже серебрилось в голубоватом свете утра, а мерцающее пламя ночника все еще краснело на бледно-зеленых, остроконечных, как у прорастающего лотоса, листьях в подножии столпов; и в середине их, с изображением бога Атона, простершего детские ручки-лучики над царской четой, оба света сливались.

Дио лежала на полу, на шкуре пантеры, между двумя ложами: царица спала на одном, а другое, царя, было пусто. Дио подняла голову и взглянула на спящую: тихо спит, дышит ровно; только иногда тонкие брови чуть-чуть вздрагивают, как мотыльковые усики, и между ними углубляется морщинка, как будто спящая и во сне о чем-то упорно думает; бледное, с черною, до половины щеки, тенью ресниц, лицо прекрасно, несмотря на страшный след болезни.

Дио вглядывалась в нее, и ей казалось, что это не она, а он: так похожа была, особенно во сне, жена-сестра на мужа-брата.

С края ложа свесилась прозрачно-бледная, с голубыми жилками, рука. Дио прикоснулась к ней губами легко, легче ночного веяния, и опять почудилось ей, что это не ее, а его рука.

«Двое одно, — думала она. — Как же могли они разделиться? Как мог он уйти от нее? Что с нею будет, что будет с ним?»

Уезжая, он сказал ей, что едет к Хоремхэбу, наместнику Севера, чтобы убедить вступить его на престол. Отреченье, освобожденье от царства, тягчайшего ига, было всегда мечтою царицы. Обрадовалась, поверила, но не совсем; удивилась, что не взял ее с собой: столько лет не разлучались почти ни на один день, и вот, в эти страшные дни, после Макиной смерти, ушел от нее, как будто бежал. Тогда же почувствовала, что он скрывает от нее что-то. Скоро, по вестям из Мемфиса, узнала, что там его нет, и никто не знал или не хотел ей сказать, где он. Спрашивала Дио, но и она не знала или тоже не хотела сказать. Долго не говорила, но, наконец, видя, что мука неизвестности для нее хуже всего, сказала.

Царица выслушала ее спокойно, как будто уже ко всему подготовилась. Всему от него покорялась, — покорилась и этому. Но все еще не понимала, почему он не взял ее с собой. В счастьи вместе, в муке розно; значит, любит ее не так, как она — его? Но и в этом обвиняла себя: должно быть, не умела любить; если бы любила больше, этого бы не было.

В тот же день слегла и уже не вставала. Давняя болезнь сердца страшно усилилась.

Дио ни на минуту не отходила от нее: помнила свое обещанье царю. Но иногда казалось ей, что любовь ее хуже, чем ненависть. Как искусный палач, мучая жертву, сохраняет ей жизнь, наносит и перевязывает раны, чтобы продлить пытку, — так и она. Изо дня в день обманывала ее, что царя ищут, скоро найдут, уже напали на след: но каждый обман открывался, и мука становилась злеей.

Иногда возмущалась за нее: «Что он с нею сделал! Жертву своими руками убить не хотел — убежал. Легкое бремя взял на себя, а на нее взвалил такое, какого нельзя человеку вынести».

В эту ночь у больной был страшный припадок. Пенту, врач, думал, что она не выживет. Судорога боли схватывала грудь и душила так, что вся она посинела, как удавленник в петле. Никакие лекарства не помогали. Пенту решил, наконец, прибегнуть к последнему, сильнейшему, опасному для самой жизни, — одуряющему соку киджеваданской белены, ливийского сильфия, аравийской смирны и маковых выжимок с толченой бирюзой и костями священного ибиса.

Лекарство помогло. Больная уснула. Проснется ли? «О, если бы...» — начала Дио думать и не кончила, вспомнила царя: «Если она погибнет, то и я с нею». Знала, что так и будет.

Завеса на дверях зашевелилась. Дио обернулась и увидела, что Пенту высунул голову. Встала, вышла к нему за дверь, в крытый ход, выходивший на реку.

Предрассветное небо, как будто облачно-серое, напомнило ей зимние дни на Иде-горе, когда шел снег. Но солнце взойдет, и небо опять, как всегда, заголубеет безоблачно. Белый туман курился на поэмных лугах за рекой; там, в камышах, болотная птица кричала скрипучим криком, и, как будто в ответ ей, где-то далеко скрипело колесо колодца. Пахло горьким дымом зимней свежести.

Пенту взял Дио за руку, отвел подальше от двери и, наклонившись к самому уху ее, прошептал:

- Царь вернулся.
- Где он? — вскрикнула Дио.

Пенту замахал на нее руками:

- Тише! Услышит. Надо приготовить, а если вдруг, — беда...
- Где он? — повторила Дио шепотом.

Пенту указал ей на дверь в глубине хода. Дио кинулась было туда, но остановилась и схватилась за голову.

- Ох, Пенту, как ей сказать? Я не могу, лучше ты...
- Нет, дио, ты, никто, кроме тебя!
- Откуда он? Как его нашли?
- Маху привел, а откуда, не знаю.
- Видел ты его?
- Видел.
- Ну, что же он, как?
- Лучше не спрашивай. Со дней бога Ра такого дела не видано! В рушице, не мыт, не брит, весь щетиной оброс, исхудал, почернел, а на спине, страшно сказать, рубцы. Ну, да спасибо Маху, – молодец! Никто ничего не знает, кроме нас двоих. Мы его и обмыли, обрили, одели.

Помолчал, как будто задумался, и потом вдруг опять спохватился:

- Что ж ты стоишь? Ступай к ней, а я здесь посторожу. Давеча, как узнал, что больна, кинулся к ней – едва удержали...

Ступай же, ступай, не бойся, как-нибудь обойдется, Бог милостив!

Дио вернулась в спальню. Царица лежала с открытыми глазами. Посмотрела на Дио долго, пристально.

- Где ты была?
- Тут же, у двери.
- С кем говорила?
- С Пенту.
- О чем?
- О царе. Хорошие вести...

– Ну да: «Ищут, скоро найдут, уже напали на след». Ах, Дио, как тебе не надоест? Глупая игра, подлая! Знаешь, я давеча думала: если бы я его больше любила, так бы не мучилась. Не маленький же и не сумасшедший, – знает, что делает. Ну, ушел и ушел, – значит, ему лучше так. Дио милая, сестра моя, он тебя любит. Будь же с ним, люби его, люби до конца, не покидай; если нужно, с ним и умри. А лгать больше не надо...

Приподнялась, облокотилась на ложе и взгляделась в нее еще пристальнее.

- Что с тобой? что ты дрожишь?
- Страшно, царица. Все лгала, а вот теперь, когда надо правду сказать, – не знаю как. Давеча с Пенту мы говорили, знаешь, о чем? Как тебя приготовить к радости...

«Что это я, Господи!» – ужасалась она, но уже не могла остановиться, точно сорвалась с горы и полетела вниз.

- Какая радость? – прошептала царица и вдруг тоже начала дрожать.
- А вот какая. К Маху только что вернулся посланный из Мемфиса; видел царя за два дня пути отсюда; царь знает, что ты больна, и возвращается. Может быть, завтра к ночи будет здесь. Если не веришь мне, спроси Маху...

По тому, как царица менялась в лице, Дио чувствовала, что нашла верный путь, и уже не боялась, твердо вела ее по самому краю пропасти и, может

быть, довела бы, спасла. Но вдруг послышался крик сначала далеко, а потом все ближе, ближе; кто-то бежал и кричал. Хлопнула дверь уже совсем близко. Дио узнала голос царевны Меритатоны, еще слабой после болезни, но уже вставшей с постели. должно быть, узнав, что царь вернулся, она бежала к нему и кричала:

– Авинька! Авинька! Авинька!

Царица тихо вскрикнула, спрыгнула с ложа и кинулась к двери. Дио – за нею. Поймала, схватила ее, но она вырывалась, кричала:

– Пусти! Пусти! Пусти!

Вырвалась, выбежала в дверь, оттолкнула Пенту и побежала к двери в глубине крытого хода: догадалась по голосу Риты, куда надо бежать. Но, сделав несколько шагов, упала на колени и протянула руки.

– Энра! – закричала так, что далеко, на реке, старый рыбак в лодке, чинивший сети, услышал и подумал: «Кто это так страшно кричит во дворце, точно режут?»

В глубине хода распахнулась дверь, и из нее выбежал царь. Кинулся к царице, лежавшей на полу.

Стоя на коленях, склонился к ней, приподнял ее, обвив одной рукой стан ее, другой – поддерживая голову, и заглянул ей в лицо. С тихим стоном открыла она глаза и посмотрела на него с блаженной улыбкой, повторяя:

– Ты! Ты! Ты!

Вдруг вся затрепетала, забилась, как пойманная рыба на крючке. Голова закинулась, и он почувствовал, что тело ее тяжелеет. Опустил ее на пол, нагнулся, поцеловал в губы и в этом поцелуе принял ее последний вздох.

В тот же день вечером, когда царица все еще лежала на ложе своем в спальне – все плакали над ней, кроме царя и Дио.

Я – сестра твоя, на земле тебя любившая, –
Никто не любил тебя больше, чем я! –
вспомнила Дио плач Изиды.

Царь взял ее за руку, отвел в сторону и сказал:

– Хорошо, что не плачешь...

Дио ничего не ответила и посмотрела на него пристально.

– Плакать не надо, – продолжал он с тихой, страшной улыбкой. – Так лучше...

– Лучше?

– Да, лучше. Теперь мы свободны. Пойдем к Нему вместе. Хочешь?

«Нет, не хочу!» – хотела крикнуть она, но опять посмотрела на него и вдруг поняла, что это не он говорит, и не ему ответила с такой же тихой, страшной улыбкой, как у него:

– Пойдем!

V

– Я узник, а ты тюремщик, так что ли, Рамоз?

– Нет, государь, не так. Ты мой царь, а я твой раб... Что ты смеешься?

– «Нечего плакать над прокисшим молоком», – как говорит Аяя. Дело сделано, птичка попалась. Часовые – у всех дверей, падают ниц, а пройти не дают – копья скрещены. Это и значит: ты – мой раб?

– Стража тебя, государь, охраняет. Сам знаешь, всюду шныряют наемные убийцы, Тутины посланцы. Нож Изеркера, яд Мериры помнишь? Как же мне тебя

- Друг мой, прости! Ты лгать не мастер: лгущий Рамоз – гиппопотам, ловящий блоху. Не от убийц ты меня бережешь, а от меня самого. Полно же лгать, скажи, чего ты от меня хочешь?
- Сколько раз говорил, Уаэнра: ты царь – будь же царем...
- Нет, уже не царь: я от престола отрекся.
- Царь не может отречься, не имея наследника. А Заакера скончался...
- Да, брат мой милый! Как он умер, скажи.
- Пал на поле брани, как настоящий мехир-удалец. Ополченье бога Ра вел на Тутину сволочь; как наши дрогнули, кинулся вперед и всех увлек за собой банным кличем, знаешь, каким: «Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный!» Ранен был копьем в живот, долго мучился. Жил без Бога, а с Богом умер. «Есть Бог! Есть Бог!» – все повторял перед концом и тебя поминал – счастлив был, что за тебя умирает...
- В той же битве ранен и ты?
- Что за рана – пустая царапина! А много храбрых пало за тебя, государь...

Замолчал угрюмо.

- А перстенек-то Амонов с ядом, подарок твой наследнику, знаешь, кому достался? – опять заговорил, усмехаясь. – Меририе. Только что Заакера скончался, прислал мне Мерири послов просить перстня за выкуп, двадцать боевых колесниц да десять плеников.
- Что же ты, отдал?
- Нет, отказал. А перстень все-таки выкрали, – должно быть, его же людишки. Пусть владеет: яд змее! Одну половину высыпал в чашу тебе, а другая осталась ему. Хватит, может быть, и на Туту!

Долго еще говорил о войне и бунте; умолял царя явиться народу, чтобы выбить из Тутиных рук главное оружье – слухи, что царь умер, и теперь он, Тута, – единственный, законный наследник престола. Но царь уже не слушал его, быстро шагал назад и вперед по верхнему крытому ходу дворца, выходившему на реку, тому самому, где, недели две назад, скончалась царица.

Рамоз сидел в кресле; не хотел было садиться при царе, но тот усадил его насильно, зная, что ему трудно стоять от раны в ноге.

Белые, круглые, большие облака опрокинулись в глади реки, уже зимней, вошедшей в свои берега, и лодки с раскинутыми парусами реяли, как птицы, над облаками. Луч предвечернего солнца, уже янтареющий, падал на внутреннюю стену хода с ветхой росписью: двенадцатилетняя девочка давала нюхать полураспустившийся цветок тюльпана тринадцатилетнему мальчику; в стройных, как бы пляшущих, движениях обоих была робкая нега любви, а в детских лицах – недетская грусть. То были царь и царица в юности.

Глядя с удивлением странно-бесчувственным на эту девочку, царь думал, что мертвое тело ее сейчас корчится, морщится, подобно древесной коре, в благовонно-смрадных смолах умастителей. «Мертвое тело хуже навоза», – вспомнил свое изречение и вдруг начал дрожать от тихого смеха, пробегавшего по телу его, как мурашки озоба или трескучие искорки в меху под гладящей ладонью.

Устал ходить, сел в кресло. Шахматный столик стоял между ним и Рамозом. Нож лежал на нем. Царь взял его, вынул из ножен и начал рассматривать серебряный узор на бронзовом клинке – погоню львов за ланями в речных камышах.

– Чей это нож? – спросил Рамоз.

– Не знаю, – ответил царь. – Видишь, какой тонкий, гибкий, – «ивовый лист» кефтийский. должно быть, дииин... А что, мой друг, страшен нож в руках

сумасшедшего?

– Все шутить изволишь, государь, а мне не до шуток!

– Шучу? Нет, не совсем. Мне самому иногда кажется...

Не кончил. Снова забегали мурашки по телу – по меху трескучие искорки.

– Ну, так как же, Рамоз, как нам быть с наследником? Ты говоришь: «ни одного», – а я: целых два, Хоремхэб и Тута, – выбирай любого.

– Хоремхэб, при жизни твоей, венца не примет, а Тута – вор, убийца, смерд...

Вдруг задохся, побагровел и весь затрясся от бешенства.

– Тута – царь Египта? Нет, государь, не бывать тому, пока я жив!

Встал.

– Уходишь? – спросил царь, тоже вставая.

– Ухожу, нам больше говорить не о чем.

– Постой. Что-то я хотел еще... Да, вот что. Все равно, – делай, что знаешь, выбирай, кого хочешь, а только меня отпусти. Я больше не могу...

Губы его задрожали, брови поднялись, лицо сморщилось, как у маленьких детей, готовых заплакать, и, прежде чем Рамоз успел опомниться, царь упал перед ним на колени.

– Отпусти! Отпусти! Отпусти! – плакал, ломая руки.

Если бы земля под ним разверзлась или небо на него обрушилось, это было бы для Рамоза меньшим ужасом.

Он быстро нагнулся к царю, поднял его, усадил и сам повалился ему в ноги.

– Царь мой, бог мой, Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный, все будет по воле твоей!

Но царь уже не слышал его, отвернулся и уставился широко раскрытыми глазами в одну точку.

– Что ты, государь? – проговорил Рамоз и тихонько дотронулся до руки его.

Царь вздрогнул, медленно повернулся к нему и посмотрел ему прямо в глаза. Тихо усмехнулся и сказал:

– А знаешь, Рамоз, когда били меня палками в Бузирском судилище, – меньше было сраму...

Встал, взял нож и пошел к двери. Рамоз кинулся за ним.

Царь обернулся, закричал:

– Пусти! Пусти! Пусти!

Вырвал руку и замахнулся на него ножом. Но в то же мгновение упал к ногам его со страшным воплем и забился в припадке падучей.

Рамоз был человек храбрый и людей в падучей видывал не раз. Знал, что в священной болезни люди одержимы богом; но кто в царе, бог или бес, никогда не мог решить, и только теперь, глядя на него, решил: «Бес!».

– Помогите! Помогите! – завопил и побежал, как бы гонимый нездешним ужасом.

VI

«Сколь многие ужасались, глядя на Него: так обезображен был лик Его больше всякого человека, и вид Его – больше сынов человеческих», – вспоминала Дио Иссахарово пророчество, глядя на больного царя.

После первого припадка сделался второй, третий – все такие тяжелые, как еще никогда. Пенту, врач, боялся, что не выживет. Выжил, но не на радость себе и другим: страшно было видеть, как умирает в живом теле душа.

Впрочем, дни и часы были разные. Вдруг опоминался, как от глубокого сна или обморока, и все понимал, говорил так разумно, что начинали надеяться, что будет здоров. Но опять находило беспамятство. Тогда, забившись в темный угол, садился на пол и, вытянув ноги вперед, прислонившись спиной к стене, уставившись мутными, как у грудных детей, глазами в одну точку, сидел так целыми часами, не двигаясь; или, медленно раскачиваясь взад и вперед, что-то бормотал себе под нос быстро и невнятно, как в бреду, то тихонько смеясь, то плача, то напевая песенку. Или бесконечно-бессмысленно повторял все одно и то же слово. А иногда в этих повтореньях брезжил какой-то темный смысл.

– Атон – Амон, Атон – Амон, Атон – Амон! – затвердил однажды, как будто нарочно соединяя эти два слова в одно: чтобы разделить их, отдал всю жизнь, и вот, может быть, понял, что разделять их не стоило.

Или спрашивал себя с таким недоумением, как будто в самом деле хотел вспомнить и не мог:

– Кто я? Кто я? Кто я?

И вдруг, обернувшись к дио, говорил с полным сознанием:

– О, если бы знать, кто я, – я был бы спасен!

Часто видел виденья – матери Тэйи, супруги Нефертити, дочери Маки, и говорил с ними, как с живыми.

Видел и Шиху, скопца: стоя, будто бы, с ним на высоте пирамиды, слышал хохот бесчисленных толп внизу, видел в небе красную от хохота рожу Солнца-Атона и, закрыв лицо руками, твердил:

– Стыд! Стыд! Стыд!

Но молния сознания прорезала тьму беспамятства, и опять был мудр – мудрее, чем когда-либо.

Дио сначала радовалась этим проблескам, но потом уже боялась их: тьма безумья после них была еще страшнее; каждый раз мучился так, как будто снова сходил с ума.

– Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил! – воскликнул однажды, повторяя древний вавилонский псалом.

Вдруг Дио показалось так, как еще никогда, что это Он, Он Сам, Грядущий. Испугалась этой мысли, опомнилась; но след ее, как молниеный ожог, остался в душе.

В райских садах Мару-Атону, в том самом тереме, где четыре месяца назад скончалась царевна Макитатона, поселили больного царя.

Терем был высокий, как башня, в три яруса; низ – кирпичный, верх – кедровый и кипарисный, весь легкий, сквозной, резной, решетчатый, узорчатый; расписанный и раззолоченный, как драгоценный ковчег. В жаркие дни стекали по дощатым стенам капли смолы, и весь он благоухал, как фимиамная кадильница.

Плоскую крышу огибли точеные перила – ряд взвившихся солнечных Змей, с раздутыми от яда горлами и с золотыми солнечными дисками на головах. Тут же курился неугасимый жертвеннник, и перед ним, на алебастровом столбике, солнечный диск бога Атона, с простертymi вниз лучами-руками, литой из бледного чама, сребро-золота, горел на небе, как второе солнце.

Только что царю становилось легче, он уходил сюда молиться.

На десятый день болезни наступило вдруг такое улучшение, что Дио начала снова надеяться.

Вечером он взошел на крышу, сам наколол щепок сандала и каннаката, положил их на жертвенник и, когда белый столб дыма поднялся в безветренном воздухе, стал на колени, протянул руки к рукам-лучам Атонова солнца и начал молиться. Дио, стоя рядом, слышала слова древнего псалма вавилонского:

– Из глубины вопиу к Тебе, Господи! Услыши молитву мою, внемли моленю моему и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою и принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Простираю к Тебе руки мои, душа моя – к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услыши меня, Господи, ибо я – Твой сын!

Солнце зашло за Ливийские горы. Тонкие мглы раскинулись по небу огненно-алыми перьями; зелень пальмовых кущ посинела, и в глади реки, почти невидимой, – опрокинутом небе – смешались цвета неизреченной нежности, как отливы опала, – белый, голубой, зеленый, желтый, розовый.

День еще не умер на западе, а уже на востоке рождалась ночь: там, в темно-пушистом, как фиалка, лиловеющем небе, жарко желтела, точно медом наливалась, полная луна.

Царь, окончив молитву, встал, посмотрел кругом и сказал:

– Как хорошо, Господи!

Голос его задрожал от слез. Дио знала, что это слезы радости, а все-таки взглянула на него с тревогой. Он улыбнулся ей, обнял ее, привлек тихонько к себе и приложил к ее щеке свою, с детскою ласкою, как это часто делывал.

– Ма, Ма, как хорошо! Не бойся, я не брежу, знаю, что ты не Ма...

Ма была Критская богиня, Великая Матерь богов и людей.

Помолчал и прибавил:

– И ты, и Нефертити, и Тэйя – все трое – Одна... Не бойся же, все хорошо будет – я буду здоров. А если и не буду – пусть, хорошо и так: прославлю и в безумьи разум, солнце солнц!

Сел в кресло. Дио опустилась у ног его. Он тихонько гладил рукою волосы ее и говорил:

– Да, может быть, и умру в безумьи; проклят буду, отвержен, осмеян людьми. «Ах, дурачок, дурачок, осрамил ты себя на весь мир!», как Шиха-скопец говорит. А все-таки я первый увидел Его, Грядущего! Первый луч солнца – уже на острие пирамиды, когда еще тьма по всей земле: так Он – на мне... Что ты плачешь, дио? Страшно, что не придет?

– Нет, знаю, что придет. Если ты пришел, то и Он... Но когда же, когда? Сколько люди ждали Его, и сколько еще будут ждать! А когда и придет, то уже не для нас...

– Нет, и для нас. Помнишь, я тебе говорил: «Пойдем к Нему». А теперь говорю: не мы – к Нему, а Он к нам придет!

И вдруг опять затвердил, как в беспамятстве:

– Скоро! Скоро! Скоро!

VII

К Городу Солнца подступали мятежные войска Тутанкатона.

По всему Египту объявил он, что царь Ахенатон и наследник Заакера убиты изменником Рамозом и он, Тута, единственный отныне законный наследник престола, идет казнить цареубийц.

Верные царю войска Рамоза встретили бунтовщиков на южной границе Атонова удела. Исход битвы был сомнителен. Бунтовщики отступили, но отступил и Рамоз. Старый вохдь понял, что дело его проиграно, дух войска пал; люди,

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
смущенные слухами из вражьего стана, не знали, с кем и за кого сражаются, кто настоящий бунтовщик, Тута или Рамоз. Чтобы уничтожить эти слухи, надо было самому царю явиться войскам; но на это Рамоз уже почти не надеялся.

Все же отступил на Ахетатон, чтобы здесь, на глазах у царя, дать последний бой. «Может быть, он опомнится и не захочет предавать землю Туте, вору», – думал Рамоз.

Но не спокойно было и в городе. Из-за воровских Тутиных шаек подвоз хлеба прекратился. Начались голодные бунты, сначала среди военнопленных и наемных рабочих, согнанных во множество на постройку новой столицы; потом в войсках, оставленных для защиты города; и, наконец, в Селеньи Пархатых.

В первый день бунта Рамоз подошел к городу, но войти в него не посмел со своими ненадежными войсками; а Тута, следуя за ним, переступил святую межу Атонова удела.

В первом часу пополуночи в царские сады Мару-Атону прискакал из города страженачальник Маху с девятью боевыми колесницами и велел расположить отборные части дворцовой стражи так, чтобы защитить Мару-Атону от нападений двойного врага – Тутиных войск и бунтовщиков из города.

- Где государь? – спросил Маху, вбегая в нижние сени царского терема.
- Почивать изволит, – ответил врач Пенту и, взглянув на Маху, испугался: лица на нем не было, голова перевязана; должно быть, ранен.
- Ступай, разбуди, – сказал Маху.
- Как можно, больного, среди ночи...
- Ступай, ступай!
- Да что такое?
- В городе бунт, царя надо спасать!

Оба вбежали по лестнице во второй ярус терема, где в тесной дощатой келийке, бывшей спальне царевниной няни Азы, на бедном ложе почивал царь.

Вызвали Дио и послали к нему. Заслоняя ладонью пламя лампады, она вошла в спальню на цыпочках, остановилась и поглядела на царя издали. Он так сладко спал, что жалко было будить. Но вспомнила слова Маху: «Жизнь дороже сна», подошла к спавшему, наклонилась и поцеловала его в голову.

Он открыл глаза и, жмурясь от света, улыбнулся.

- Что ты, Дио? Спи, мне хорошо.
- Нет, Энра, спать нельзя, вставай. Маху приехал, говорит, нужно видеть тебя.
- Маху? Зачем? – спросил он, вглядываясь в нее и приподнимаясь на ложе.

«Все равно сейчас узнает», – подумала она и сказала:

- В городе бунт.
- И Тута с войсками идет? – догадался он: должно быть, кое-что уже слышал.
- Отчего же раньше не сказали? А впрочем, так лучше, – сразу.

Говорил спокойно, как будто задумчиво.

- Где же Маху?
- Хочешь, сюда позову?
- Нет, я выйду к нему.

Начал одеваться. Дио помогала ему: не стыдились друг друга. Одевался не спеша.

- Что это? – спросил, увидев свет в окнах.
- Где-то горит.
- Где?
- Не знаю. Маху скажет.

Вышли в сени. Отсюда видно было зарево над городом. Горели царские житницы, казармы, дворец и храм Атона.

Маху подошел к царю и поклонился ему в ноги.

- Жизнь, сила, здравье царю...

Не мог говорить, заплакал. Царь нагнулся и обнял его.

- Что ты, Маху? Не плачь, все хорошо будет... Ранен? – спросил, увидев на лбу его повязку.

- Ох, государь, не до меня сейчас, – тебя спасать надо!
- От чего спасать?

В двух словах Маху доложил обо всем и, опять припав к ногам царя, воскликнул:

- Пойдем же, пойдем скорей! Колесницы ждут у ворот сада. Как-нибудь проберемся пустыней к реке, пониже, где нет застав, сядем в лодки и дней через пять будем в верных уделах Севера.
- Бежать? – спросил царь так же спокойно, как давеча.
- Да, государь, – ответил Маху. – Тутина сволочь может быть здесь сейчас. Я за жизнь твою не отвечаю!
- Нет, мой друг, нельзя бежать. Убегу, а что будет здесь, в святой земле Атона? Из-за меня, из-за меня война бесконечная! Миром начал – кончу войной? Говорю одно, а делаю другое? Будет, будет с меня этого срама! И от кого бежать? От Туты? что он мне сделает? Царство отнимет? да ведь этого я и хочу. От бунтовщиков? А они что сделают? Убьют? Пусть, – лучше смерть, чем срам. Анк-эм-маат, В-правде-живущий, умрет во лжи? Нет, и умирая, скажу, как говорил всю жизнь: да будет мир!

Вдруг замолчал, прислушался: откуда-то издали донесся трубный зык, барабанный бой. В саду и в тереме сделалась тревога.

Сотница царских телохранительниц, хеттеянок, взбежала по лестнице с криком:

- Тутины воины! Тутины воины!
- Где? – спросил Маху.
- Там, у ворот. Бой уже начался!

Все побежали вниз, кроме царя и Дио.

Буйные шумы войны врывались в тихие сады Мару-Атону – трубный зык, барабанный бой, ржанье коней, скрип телег, гром колесниц, боевые клики начальников. В черной тени пальмовых кущ рдели факелы: в лунном небе полыхало зарево, и бледнело от него лицо луны, а золотое солнце Атона на крыше терема, над жертвеннником, наливалось красным огнем, как кровью. Четырехугольник стен, высоких и толстых, как бы крепостных, с единственными воротами на реку, окружал сады; внутренняя стенка разделяла их надвое: в южной половине находились службы, погреба, житницы, казармы дворцовой стражи, а в северной – беседки, притворы, часовни бога Атона и, у большого искусственного пруда, царский терем.

Передовые части Тутиных войск, подойдя к Мару-Атону, остановились. Зная, сколько в нем сокровищ, захотели пограбить.

Начали ломиться в ворота. Воины Маху отражали все написки. Но подходили все новые части, и бунтовщики из города присоединялись к ним. Окружили сад, как осажденную крепость, и, наконец, ворвались.

Бой начался у внутренней стенки. Здесь полудикие наемники Севера, Ахайуши, и Таккара – ахейцы и тевкры, дрались, как львы. Голые, только в медных поножьях и медных, с пернатыми гребнями, шлемах, закинув маленькие круглые щиты за спину и держа в каждой руке по широкому, в виде треугольника, железному ножу-мечу, они резались ими неистово. Но, одолеваемые множеством, отступили к пруду. Пруд был мелкий, по пояс людям. Бой продолжался в воде так жестоко, что она помутнела и потеплела от крови.

Юный вождь ахейцев, Этеокл, умирал на берегу, под засохшей Макиной березкой, и, глядя на белый ствол ее, видел сквозь смертную тьму далекую родину.

Одни сражались, а другие грабили.

Нежные стебли цветов в цветниках ломались под грубыми подошвами воинов. Лужи крови стояли на полу в часовнях. Дерево священных столпов рубили на костры; пурпур священных завес рвали на онучи; соскабливали ногтями золото со стен. А одна старушка, иадиха из Селенъя Пархатых, видя, что драгоценный ларец, ввинченный ножками в пол, нельзя унести, вгрызлась в него зубами так, что выкусила жемчужину.

Нааман, пророк, тоже из Селенъя Пархатых, топтал ногами деревянное позолоченное солнце Атона – золотого бы не отдали даже пророку – и плясал, и кричал:

– Боже отмщений, Господи Боже отмщений, яви Себя! Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым!

Разбивали погреба. Вино заливало их так, что люди, стоя на четвереньках, лакали его прямо с пола. Напивались до смерти. Двое пьяных, подраввшись, упали на дно погреба и утонули в вине.

Тут же насиловали женщин и резали детей, каждый во имя своего бога – Атона, Амона или Иагве.

Сад Солнца, рай Божий, превратили в ад.

Горсть ахейцев и тевкров, не перебитых в пруду, отступила к царскому терему, находившемуся в узком проходе между прудом и северной стеной сада. Терем охраняли боевые колесницы Маху, черные маттойские стрелки, ликийские пращники и хеттейские амazonки.

Тутины воины, узнав, что царь в тереме, пошли на него приступом: хотели захватить царя живым или мертвым, чтобы кончить войну.

В то же время с юга подходили главные силы Тутанкатона, а с севера – войска Рамоза. Великая битва, решавшая судьбы Египта, началась под самыми стенами Мару-Атону. Призрачной казалась она в темноте ночи, белом свете луны и красном свете зарева. Трубный зык, барабанный бой, ржанье коней, гром колесниц, звон мечей, свисты стрел, стоны убиваемых, крики убивающих – все слилось в один бушующий ад. А средоточием ада, недвижною осью в крутящемся смерче войны, была тихая башня царского терема.

С плоской крыши его царь и дио смотрели вниз.

– Из-за меня! Из-за меня! – повторял он, ломая руки, или, протягивая их с безумной мольбой к сражавшимся, говорил:

– Мир! Мир! Мир!

Как будто все еще надеялся, что люди услышат его и кончат войну.

То затыкал уши, закрывал глаза руками, чтобы не слышать, не видеть; то, подбегая к перилам крыши, перегибался через них жадно, смотрел, как люди умирали, убивали с именем его на устах, и такая мука была в лице его, как будто все мечи, и стрелы, и копья вонзались в сердце его, как в цель; то

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
кидался к запертой двери на лестницу, стучал в нее кулаками, бился головой и кричал:

– Отоприте!

А когда Дио старалась его удержать, вырывался из рук ее, плакал, молил:

– К ним! К ним!

Она понимала, чего он хочет: броситься между сражавшимися, чтобы убили его и перестали убивать друг друга.

То вдруг затихал, садился на пол и, уставившись глазами в одну точку, что-то бормотал себе под нос, быстро и невнятно, как в бреду. Вслушавшись однажды, Дио узнала заговор старой кормилицы Азы над умиравшею Маки:

Мать Изида кричит

С вершины гор:

«Сын мой, Гор!

На горе горит, –

Воды принеси,

Огонь угаси!»

«Так и умрет в безумье», – думала Дио и, сидя рядом с ним на полу, гладила его тихонько по голове, шептала:

– Мальчик мой бедный! Мальчик мой бедный!

Слушая грохот – хохот войны, глядя, как солнце Атона густо краснеет, точно наливаются кровью от хохота, думала: «Может быть, мы и ошиблись: Бог не любовь, а ненависть, и мир не мир, а война?»

Время останавливалось, наступала вечность: был, есть и будет всегда этот, от края до края земли, от начала до конца времен, бушующий ад войны.

Воды принеси,

Огонь угаси!

Нет, никакие воды не угасят огня, и будут они гореть в нем вечно.

– Мальчик мой бедный! Мальчик мой бедный! – все шептала, гладила его по голове и вдруг с безумной лаской прибавила: – Девочка моя бедная!

«Ну вот, и я схожу с ума», – подумала.

Улыбнулись друг другу, поняли друг друга, – и в этом была сквозь муку радость бесконечная.

Увидела кровь на лице его: давеча, должно быть, когда перегибался через перила, глядя на сражавшихся, был ранен стрелою в голову и не почувствовал, и она не заметила. Краем одежда вытерла кровь, но след ее остался на лице.

Вглядывалась в него, вспоминала: «Сколько многие ужасались, смотря на Него: так обезображен был лик Его больше всякого человека, и вид Его – больше сынов человеческих».

– Он! Он! Ты – Он! – прошептала с радостным ужасом.

– Нет, Дио, я только тень Его, – ответил он спокойно, разумно. – Но если и тень Его мучается так, то как же будет мучиться Он!

Вдруг поднял глаза к небу, вскочил.

– Идет! – воскликнул таким изменившимся голосом, с таким искаженным лицом, что она подумала: «Сейчас упадет в припадке». Но тоже взглянула на небо и поняла.

В утренней серости, над потускневшим заревом, вспыхнул исполнинский луч, пирамидоподобный, с основанием на земле, с острием в зените, и затрепетали, заполыхали в нем опалово-белые трепеты-сполохи – Свет Зодиака.

– Скорее! Скорее! – повторял он, весь трепещущий, подобно тем небесным трепетам.

Оба заспешили так, как будто в самом деле встречали Нежданного.

Вздув на жертвеннике угли, царь подложил в них щепок сандала и каннаката. Дио зажгла золотую, длинную, в виде протянутой человеческой ручки кадильницу и подала ее царю, а сама взяла систр – медную дугу с продетыми в нее серебряными, тонко звенящими змейками. Оба стали перед жертвенником, лицом к востоку.

– Славить иду лучи твои, живой Атон, единый вечный Бог! – возгласил он, и ей казалось, что голос его покрывает грохот – хохот войны, бушующий ад.

– Хвала тебе, живой Атон, небеса сотворивший и тайны небес! Ты – в небесах, а на земле – твой сын возлюбленный, Ахенатон! – ответила она.

Вдруг снизу донесся стук топоров. Зданье задрожало так, что казалось, рушится. Осаждавшие терем ворвались в него, и бой начался внутри.

– Горим! – послышалось где-то внизу, должно быть на лестнице, и отозвалось в сердце Дио знакомым ужасом: вспомнила, как лежала на костре готовой к закланью жертвой.

Кинулась к перилам, нагнулась и увидела внизу, в проломе садовой стены, на боевой колеснице, в царском шлеме, с царской змейкой на челе, Тутанкамона победителя.

Он тоже увидел ее и закричал, замахал ей руками. Слов она не слышала, но поняла: зовет к себе, хочет спасти.

Чернокожий воин взлез, с обезьяньим проворством, на верхушку пальмы, рядом с крышею терема, и перебросил оттуда ловко, прямо к ногам Дио, веревочную лестницу. Сама почти не помня, что делает, она подняла ее, зацепила одним концом за балясину перил, а другой конец – спустила вниз.

Взять большого царя на руки, – худ был, кожа да кости, легок, как маленький мальчик, – и спуститься с ним по лестнице ей, укротительнице диких быков на Кносском ристалище, ничего бы не стоило. Но остановилась, как бы задумалась. Снова нагнулась через перила и посмотрела вниз. Тута продолжал ей кричать и махать руками. Вгляделась в лицо его: не злое, не доброе; не глупое, не умное; среднее, вечное лицо всех.

«Ахенатон исчезнет, Тутанкамон останется, и будет царство мира сего царством Тутиным», – вспомнила она и подумала: «Плюнуть в это лицо? Нет, не стоит».

Бросила лестницу в огонь – нижний ярус терема уже весь пыпал – и вернулась к царю.

Ничего не видя и не слыша, он стоял на том же месте и протягивал руки к восходившему солнцу.

– Господи, прежде сложения мира открыл Ты волю Свою Сыну Своему, вечно существу. Ты, Отец, в сердце моем, и никто Тебя не знает – знаю только я, Твой сын!

С бешеным грохотом-хохотом взвилисько всех сторон, сквозь белые клубы дыма, языки красного пламени, как будто взметнулся до самого неба бушующий ад.

Дио кинулась к царю, заглянула в лицо его – солнце, и узнала Пришедшего.

– Ты ли, Господи?

– Я!

Обнял ее, как жених обнимает невесту, и в огненной буре любви вознес к Отцу.

Терем, легкий, сквозной, резной, решетчатый, весь из сухого, смолистого кедра и кипариса, горел, как свеча, и благовонный дым с него клубился, как фимиам с жертвенника, навстречу восходившему солнцу.

VIII

Тутанкамон благополучно царствовал. Только что вступив на престол, он переменил имя: был Тутанкатон – Живой-образ-Атона, стал Тутанкамон – Живой-образ-Амона. Переменил и веру с такою же легкостью: скинул с ног своих Амоновы лапотки с божьим лицом на подошвах и поклонился тому, кого попирал.

Переселился из нового Города Солнца в древнюю столицу Фивы и начал восстанавливать по всему Египту храмы Амона, воздвигал ему кумиры из чистого золота, умножал дары и дани, возобновлял жертвы и празднества. А храмы Атона разрушал, имя его истреблял всюду, где ни находил, – на гранитных колоссах и шейных ладанках, на высоте обелисков и в подземных гробах. Те же молоточки тех же каменщиков стукали, как при царе Ахенатоне; тогда разбивали имя Амона, а теперь – Атона; те же сыщики сыскивали тайных слуг Амоновых тогда, а теперь – Атоновых.

Память царя Ахенатона была проклята. По всему Египту возглашалось проклятье:

– Да истребит Господь память его на земле живых, и да не упокоится двойник его, Ка, в царстве мертвых. Горе врагам твоим, Господи! Тымою покрыто жилище их, вся же земля во свете твоем; меркнет солнце тебя ненавидящих, и восходит солнце любящих!

Даже по имени не смели его называть, а называли Врагом, Злодеем, Извергом или Шутом, Дурачком.

Первые люди земли – знатные, богатые, счастливые, скоро забыли его; но последние – нищие, убогие, несчастные, помнили долго. В смерть его не верили: «Умер и воскрес», – говорили одни, а другие: «Не умирал вовсе, а бежал из дворца и ходит по земле нищим странником, скрывается». Но все одинаково верили, что снова явится, правду восстановит, В-правде-живущий, Анк-эм-маат, злых казнит, добрых помилует, скорбных утешит, рабов освободит, уравняет бедных с богатыми, сотрет межи полей, как разлившийся Нил, водами любви неисчерпаемой; спасет мир, во зле погибающий; будет вторым Озириром, истинным Сыном, Избавителем.

– Слухи-то нынче какие пошли, знаешь? – сказал однажды Тута Мерире, Амонову первосвященнику, главному помощнику своему в войне с Атоном.

– Какие слухи, государь?

– Будто Изверг жив.

– Я так и знал, – ответил Мерира с такой странной усмешкой, что Тута удивился, почти испугался.

– Что ты знал?

– Что он жив. Сколько бы ни умирал, вечно будет жив дурак для дураков! Глупость – солнце мира, а Сын солнца – он, Уаэнра.

Тута рассмеялся и успокоился. Но потом вздохнул и прибавил с грустью:

– Да, мой друг, глупость бессмертна. Трудно воевать с нею – труднее, чем мы думали.

Заговорили о другом. Но среди разговора, как будто вспомнив что-то, Мерира спросил:

– А что, государь, ты наверное знаешь, что царя Ахенатона нет в живых?

Тута подумал было, что он все еще шутит, но, взглянувшись в лицо его, опять удивился, почти испугался.

– Что ты, мой друг, помилуй, как же не наверное, когда своими глазами видел...

– Да, глаза у тебя хорошие: ночью, с поля сраженья, сквозь чащу деревьев, дым и пламя пожара, увидеть человека на вышке терема и узнать в лицо не так-то легко!

– Да ведь я не один, все говорят, что он там был, и дио с ним, а ее-то я видел наверное.

– Ее, а его?

– И его, кажется...

– Кажется, – значит, не наверное.

– Полн, Мерира, неужто ты и вправду думаешь?..

– Я, государь, ничего не думаю, а только хотел знать.

Замолчали, посмотрели друг на друга, и обоим стало неловко. Опять заговорили о другом. А когда Мерира встал, чтобы уходить, Тута спросил его:

– Как твое здоровье?

– Здоров. А что?

– Так, что-то у тебя лицо нехорошее, вон как осунулся.

– Видно, устал воевать с дураком, – ответил Мерира и усмехнулся опять давешней странной усмешкой.

Тута ласково держал его за руку и молча смотрел ему в глаза, как будто хотел еще что-то сказать, но не решался. Мерира тоже молчал.

– А слухи-то эти, что Изверг жив, знаешь, откуда? – заговорил наконец Тута.

– Всё из той же дыры поганой, из Города Солнца, чтоб ему провалиться! Друг наш, Пангезий, все еще там прячется, как скорпион в щели, – не поймаешь...

Пангезий, второй великий жрец Атона, кроткий изувер, «святой дурак», по слову Аии, был один из немногих, оставшихся верными царю Ахенатону.

– Да и не он один, – продолжал Тута. – Много туда всякой сволочи шляется. Дураки живые для мертвого стараются, бунтовские слухи пускают в народ...

Еще помолчал, подумал и сказал:

– Сделай милость, мой друг, давно я хотел тебя просить, съезди туда, узнай, что там творится. Разорить бы, выжечь дотла это гнездо осиное!

– Нет, государь, уволь. Сыщиков у тебя довольно, а я на такие дела не мастер, – ответил Мерира так сухо, что Тута больше не настаивал.

А дня через два Мерира сам первый снова заговорил об этом и вдруг объявили, что готов ехать. Тута обрадовался и тотчас снарядил его в путь с целою сворою сыщиков, сонном жрецов и сильным отрядом телохранителей.

Город Солнца лежал в запустеньи. Несколько раз, во время войны, то бунтовская чернь, то тутины войска жгли его и грабили. Когда же новый царь вступил на престол, то повелел разрушить его до основанья и выселить из него жителей. Выселяли их сначала силой, а потом и сами они бежали из проклятого места, где оставались только развалины да пожарища.

Царские сады Мару-Атону запустели еще больше города. Стены их были разрушены, волны зыбучих песков заносили выжженные цветники, высохшие пруды, поваленные деревья, обгорелые остовы царских теремов, беседок и часовен. Там, где некогда цвел Божий рай, была теперь пустыня.

Дня через три по приезде в город Мерира посетил сады Мару-Атону, чтобы увидеть то место, где погиб Злодей.

Был месяц Паонз – март, уже знойное лето. Солнце только что зашло, и плоско, подобно краям обугленного папируса, чернели зубцы Ливийских гор на

красном полыме заката. Нил тоже почернел, очугунел и кое-где обрызгался каплями крови. Парус лодки, на черноте его, рдел кровавым лоскутом.

Жарко, как больной в горячке, дышал ветер, не освеженный и не успокоенный вечером. Сухо, как хворост на костре, трещали кузнечики; шуршали желтые листья срубленных и поваленных пальм; шелестел, ссыпаясь с них, песок.

Где-то плакала пастушья свирель. Медленно падали звуки, однообразно-унылые, звук за звуком, как слеза за слезой.

О Таммузе далеком плач подымается!

Матка-овца и ягненок заколоты,
Матка-коза и козленок заколоты.

О Сыне возлюбленном плач подымается! –

пел старый пастух, Энгур, сын Нурдагана, вавилонянин, раб Таммузадада, привезенный Дио в Египет с острова Крита.

Подъезжая давеча к Мару-Атону, Мерира видел, как тощие овцы и козы Энгура щипали сухую траву в степи. «Это он и поет», – догадался Мерира, вслушиваясь в звуки свирели. Знал песню: слышал ее однажды вместе с Дио, и она повторила ему вавилонские слова ее по-египетски. Вспомнил их и теперь:

О Сыне возлюбленном плач подымается...

«Всё о Нем, всё о Нем, – от Него никуда не уйти!» – подумал со скучой и брезгливо поморщился.

Рядом с ним шел жрец-заклинатель, Гор, ученик Птамоза, тот молодой человек с постным и строгим лицом, которого видела некогда Дио в подземном святилище бога Овна. Он докладывал Мерире о только что взятых под стражу бунтовщиках, тайных поклонниках Изверга, – царском карлике Иагу, беглом рабе Юбре, старушке Зенре, диной кормилице, и других, все таких же бедных людях. Через них надеялся добраться и до Иссахара, Изки Пархатого, и до Атонова жреца, Пангезия, двух главных бунтовщиков.

- Допрашивал их? – спросил Мерира.
- Допрашивал.
- Что же говорят?
- Что Изверг жив.
- Как же им эта дурь вступила в голову?
- Говорят, видели его.
- Где, когда, как?
- Этого умрут – не скажут.
- Что же ты с ними будешь делать?
- Что велишь, отец.
- Мне все равно, только помни: живых дураков казнишь, мертвый оживет еще больше. Я бы отпустил всех, и дело с концом!
- Воля твоя, учитель, но что скажет царь?
- Да, царь. Хочешь царю угодить? Ну, делай, как знаешь, только не говори со мной об этом... Какой сегодня день?
- Месяца Паонза двадцать четвертое.
- А царь Ахенатон умер когда?
- Двадцать пятого.
- Вот как сошлось!
- Что сошлось? – спросил Гор, взглянув на него, с внезапной тревогой.

Мерира ничего не ответил, остановился и оглянулся.

– Куда это ты меня завел, мой друг? Веселенькое mestечко, нечего сказать!

Густо краснело воспаленное небо, жарко дышал горячечный ветер, сухо шелестели желтые листья пальм, шуршал ссыпавшийся песок, трещали кузнечики, и плакала свирель.

«Всё о Нем, всё о Нем, – от Него никуда не уйти!» – опять подумал Мерира со скучкой, тяжело опустился на ствол поваленного дерева, потянулся, заломил руки над головой и зевнул судорожно, как человек, не спавший много ночей.

– Скука-то какая, Господи! – проговорил сквозь зевоту. – Неужто тебе не скучно, Гор?

– Что скучно, отец?

– Все, мой друг; все: рождаться, жить, умирать и воскресать. Хорошо, если там что-нибудь новенькое, а ну как все то же, все то же – вечная скуча!

Вдруг поднял глаза на Гора и рассмеялся.

– Что это у тебя на лбу, сынок, будто две шишечки? Ай-ай, вот так диво! Рожки, совсем как у ягненочка. Ну-ка, нагнись, пошупаю.

Гор испугался. Знал, что Мерира тяжело болен, и знал чем, но боялся думать об этом. Все надеялся, что Бог помилует, не допустит, чтобы погиб великий пророк, спаситель земли от Изверга.

Стоял ни жив ни мертв. Но так сильна была привычка слушаться учителя, что, когда тот сказал: «Нагнись», покорно наклонил бритую голову. Мерира тихонько провел по ней ладонью и опять усмехнулся, точно брезгливо поморщился.

– Нет, ничего, гладко... Да что ты испугался, глупенький! Полно, я пошутил, испытать тебя хотел. Все-то следишь за мной, боишься, как бы с ума не сошел. Не сойду, небось, – так только, одурел немного в войне с дураком, да это скоро пройдет...

Гор опять наклонился к нему, схватил и поцеловал руку его. «Если он погибнет, то и я с ним!» – подумал и успокоился.

– Мальчик мой милый, знаю, что любишь меня, – сказал Мерира и поцеловал его в голову. – Ну, будет болтать, пойдем. Где же пожарище?

Сделав несколько шагов, вышли на песчаную поляну – Большой пруд. Здесь Макина березка, засыпанная песками, едва белела над ними обломком ствола.

Проходя мимо нее, Мерира почему-то вспомнил Дио, и вдруг захотелось ему поцеловать этот белый, на закате порозовевший, тонкий ствол. Но стыдно было Горе: как бы опять чего не подумал. Только замедлил шаг, прикоснулся рукою к стволу, точно к живой руке, из земли к нему протянутой, и не усмехнулся, а улыбнулся в первый раз за многие дни.

Миновав пруд, подошли к песчаному холмику с кое-где торчавшими обугленными досками и бревнами. Это были развалины сгоревшего царского терема – Ахенатонов и Динн гроб.

– Здесь он и погиб? – спросил Мерира.

– Здесь, – ответил Гор. – Это ихняя святыня: ходят сюда на поклоненье Извергу.

На вершине холмика, на красном небе заката, четко чернели два обугленных перекрещенных бревнышка, с медною скобою, согнутой в петлю жаром огня в пожаре, должно быть, скрепой дощатой стены, как иероглиф Жизни, петельный крест, Анк.

– Что это? Само в пожаре сделалось? – спросил Мерира, указав на бревнышки.

– Нет, не само; должно быть, поклонники Изверга сделали, – ответил Гор и подозревал одного из стоявших тут же, у холмика, воинов-телохранителей.

– Снять, – велел ему, указывая на крест.

Тот взлез на холмик, вырвал из песка бревнышки, сломал их, бросил и растоптал.

– Жив, жив, жив! Был мертв, и вот, жив! – услышал за собой Мерира чей-то громкий голос, обернулся и увидел быстро подходившего к нему человека в рубище, исхудалого, почернелого, косматого, как зверь, с искаженным лицом и дико горящими глазами.

– Знаю, зачем пришел, убийца! – кричал он, как исступленный. – Мертвого хочешь убить, но вот, он жив, а ты мертв!

Воины, по знаку Гора, схватили кричавшего.

– Отпустите, – велел Мерира и, обернувшись к человеку, спросил: – Кто ты?

– Не узнаешь? А ведь старые приятели, с одной лозы ягодки. Его убийцы – оба. Только я поумнел, а ты все еще глуп!

Мерира взгляделся в него и узнал Изеркера, Изку Пархатого.

– Так говорит Господь Бог Израиля, – опять закричал он, подымая руки к небу. – «Воззрят на Того, Кого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о сыне единородном, и скорбеть, как скорбят о первенце!»

И словно в ответ кричавшему заплакала свирель:

Умер Господь! Умер Таммуз!

Псы блуждают в развалинах дома его,
На могильную тризну слетаются вороны.

О, сердце Таммуза! О, ребра пронзенные!

Мерира подошел к Иссахару, взял его за руку, отвел в сторону и сказал:

– Полно кричать, толком говори, что тебе от меня надо?

– Будто не знаешь?

– Не знаю.

– Ну, так и я не скажу: все равно не поверишь. Он сам тебе скажет.

Мерира понял, что «он» – царь Ахенатон.

– Близок твой час, Мерира. Завтра – великий день, знаешь какой?

– Знаю, смерть дурака.

– Ой, смотри, умница, как бы тебе самому в дураках не остаться! – ответил Иссахар, повернулся и пошел.

Воины, по знаку Гора, опять подбежали, схватили его, и опять Мерира сказал:

– Оставьте, не троньте, пусть идет!

Воины отпустили его, и он пошел, не ускоряя шага и не оглядываясь, как будто был уверен, что его не схватят.

– Так его и отпустишь, отец? – спросил Гор, подойдя к Мерире. – Это Изка Пархатый, ихний пророк, главный бунтовщик, – прибавил он, думая, что Мерира его не узнал.

– А что с ним делать? Видишь, юрод, с него и взять нечего, – ответил Мерира, пожимая плечами, и пошел туда, где ждала его колесница. Вошел в нее и велел ехать в город.

Мерира жил в Тутиной усадьбе. Ее сохранили от разрушенья, по воле царя, на память потомству. В летнем доме жил Мерира, совсем один, в зимнем – Гор со жрецами, а в службах – воины.

Вернувшись в город, когда уже стемнело, Мерира вызвал Гора, тоже вернувшегося, и велел ему, чтобы завтра чуть свет все было готово в верхнем Атоновом храме для богослуженья Амону и проклятья Изверга.

Потом вошел в дом, поднялся в верхнюю горницу, ту самую, где происходило некогда собранье заговорщиков, лег на ложе и долго лежал с закрытыми глазами, с окаменевшим, как у мертвого, лицом; не спал и знал, что не заснет.

Поздно ночью встал, понюхал воздух и брезгливо поморщился. Старая болезнь вернулась к нему: всюду преследовали его дурные запахи – дохлой крысы, как в хлебных амбара, помета летучих мышей, как в пещерных гробницах, и тухлой рыбы, как на берегу Нила, где чистят, солят и сушат рыбу на солнце.

Подошел к ларцу в изголовьи ложа, отпер его, вынул золотой ковчежец с белым порошком, сонным зельем, понюхал, лизнул и выплюнул. Знал, что от него заснет, но потом еще хуже будет бессонница.

Положил ковчежец назад в ларец и вынул из него перстень с карбункулом, Амоновым оком. Поднял камень, вращавшийся на золотом стержне в петельках, заглянул в чашечку под ним с серебристо-серым порошком – ядом. Только половина его оставалась в чашечке, другую – он высypал тогда, на пире Заакеры, в чашу царя. Снова опустил камень и спрятал перстень в ларец.

Сошел в сад и через калитку в садовой стене вышел на улицу, залитую белым лунным светом, с одной стороны, и перерезанную черными тенями развалин – с другой.

Шел, опустив голову, сгорбившись, тяжело ступая и опираясь на посох, как усталый путник в конце дневного пути.

Белые барабаны, сквозя на луне тонким руном с перламутровым отливом, розово-рыжим и голубовато-серебряным, двигались медленно, все в одну сторону, как будто паслись на небесных пастбищах и пастухом был месяц. Тихо было на небе, тихо на земле, недвижимо все, как бы сковано лунным серебром: только летучие мыши сновали быстро, как челноки на ткацком станке.

Вдруг послышался протяжный вой с хохотом; похоже было на то, что человека защекотали до слез и он хочет и плачет вместе. Это выли гиены, должно быть, учуяв Мериру. К ним присоединились шакалы, точно кликуши закликали. И весь мертвый город ожила. Но постепенно умолкли, и опять наступила тишина.

Миновав огромный пустырь с обгорелыми досками и бревнами – пожарище царского дворца, – Мерира вышел к Атонову храму.

Храм наполовину уцелел. Исполинское зданье с толстыми стенами из хорошо обожженных кирпичей и каменных глыб нельзя было сжечь и нелегко разрушить. Только деревянные стропила в потолках обгорели, а кое-где потолки провалились, столпы обрушились. Плоские, на стенах, изваяния царя Ахенатона, приносящего жертву богу Солнца, всюду были разбиты, иероглифные надписи стерты или замазаны. На семи дворах-святилищах все триста шестьдесят пять алебастровых жертвенныхников были тоже разрушены, и место их осквернено: целыми обозами свозились сюда и сваливались нечистоты из Селения Пархатых, так что в первое время нельзя было пройти мимо, не задохнувшись от смрада. Но скоро солнце выжгло, очистило все, превратило навоз в чернозем; ветер пустыни завеял его песком, и там, где было смрадное гноище, заблагоухали степные травы – свежая мята и горькая полынь.

Семь дворов – семь храмов. Таммуза вавилонского, Аттиса хеттейского, Адона ханаанского, Адуна критского, Митры митаннийского, Эшмуна финикийского, Загрея фракийского. «Все эти боги – тени Грядущего», – вспомнил Мерира и опять подумал со скукой: «Он – всегда, везде; от Него не уйдешь!»

Вдруг послышались шаги. Оглянулся – никого. Опять шаги – опять никого. Это повторялось несколько раз. Наконец, подойдя к восьмому, закрытому храму, где было Святое Святых, он увидел вдали человека, перебегавшего из лунного света в тень. Знал, что в городе, по ночам, грабят и убивают; вспомнил, что

Мережковский Д. Мессия filosoff.org
безоружен; остановился, хотел было крикнуть: «Кто там?», но почувствовал
такое отвращенье к собственному голосу, что молча вошел в храм.

Здесь, у шестнадцати столпов, шестнадцать великанов Озирисов, в божеских
тиарах, в тую натянутых мумийных саванах, все на одно лицо – царя
Ахенатона, были повалены и разбиты на куски. Потолок обрушился, и лунный
свет падал на бледные глыбы алебастра – члены исполнинских мертвцев.

Пробираясь между ними и перелезая через них, Мерира подошел к внутренней
стене Святого Святых, где изваян был Сфинкс с львиным туловищем, львиными
задними лапами, человеческими руками, подымавшими к Солнцу-Атону жертву –
изваяньице богини Маат, Истины, и с лицом царя Ахенатона; если бы человек
промучился в аду тысячу лет и снова вышел на землю, у него было бы такое
лицо.

Сфинкс уцелел, потому ли, что разрушители не узнали в нем Изверга, или
потому, что рука у них не поднялась на это неземное страшилище.

Мерира встал на камень, чтобы лучше видеть его в бледном свете луны.
Неутолимо-жадно взглядывался в него. Вдруг весь потянулся к нему и поцеловал
его в уста.

В то же мгновенье почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной,
оглянулся и увидел Иссахара.

– А-а, это ты, Пархатый! – проговорил, сходя с камня. – Зачем ты все ходишь
за мной? Что тут делаешь?

– А ты что? – спросил Иссахар.

– Жду его, – ответил Мерира и усмехнулся. – Если жив, пусть придет. К тебе
приходит?

– Нет. К нам обоим придет: вместе хотели убить его и вместе увидим живого.

– О ком говоришь? О царе?

– О царе и о Сыне. Через царя к Сыну – нам с тобой иного нет пути.

– Что ты меня с собой равняешь? Я – египтянин, а ты – Иад Пархатый. Ваш
Мессия не наш.

– Он один для всех. Вы Его убили, а мы Его родим.

– И тоже убьете?.. Ну, ступай, – сказал Мерира и пошел, не оглядываясь.
Иссахар – за ним.

Вдруг Мерира остановился, оглянулся и сказал:

– Так и будешь ходить за мной? Ступай, говорят, ступай, пока шкура цела!

– Не гони меня, Мерира. Если я уйду, Он к тебе не придет.

– Да ты что, пес, о двух головах, что ли? – закричал Мерира и поднял палку.

Иссахар стоял, не двигаясь, и смотрел ему в глаза. Он опустил палку и
рассмеялся:

– Ах ты, юрод несчастный! Ну что мне с тобой делать?

Помолчал, подумал и заговорил вдруг изменившимся голосом:

– Ну, ладно, пойдем. Ко мне, что ли?

Иссахар молча кивнул головой.

Пошли быстро, как будто спеша. Миновав семь дворов-святилищ, вышли на
улицу. Все время шли молча; только подойдя к Тутиной усадьбе, Мерира
спросил:

– Который час?

– Седьмой, – ответил Иссахар, взглянув на небо. Время ночи считали от захода солнца.

– Часов пять до восхода. Ничего, время есть, – сказал Мерира.

Прошли садом к летнему дому. Войдя в сени, Мерира взял горевшую во впадине стены лампаду и повел спутника рядом пустых покоев. Поднялись по лестнице в спальню и оттуда прошли в соседнюю горницу.

– Ложись здесь, – указал Мерира на ложе, – а я буду там, рядом. Смирно лежи, не вставай, ко мне не входи, слышишь?

Иссахар опять молча кивнул головой.

– Есть хочешь? Вон как отощал, сутки, должно быть, не ел.

– Нет, пить, – ответил Иссахар.

Мерира взял с поставца кувшин с пивом и подал ему. Он жадно отпил.

– Что ты дрожишь? – спросил Мерира, заметив, что руки у него трясутся так, что едва держат кувшин. Кинул ему плащ.

– Ну, ложись, укройся; может, согреешься.

– Я спать не хочу, посижу так.

– Ложись, ложись, говорят!

Иссахар лег. Мерира сам укрыл его плащом.

– Спи. Завтра, чуть свет, разбужу. В верхний храм пойдем, там Его и встретим...

Вдруг Иссахар приподнялся на ложе и хотел поцеловать руку Мериры. Но тот быстро отдернул ее.

Вышел в соседнюю комнату, плотно притворил за собой дверь, но не запер; поставил лампаду на свещник, взял с полки у стены две кедровых, беленых для письма, дощечки, написал на них несколько строк, сложил, запечатал и спрятал за пазуху. Подошел к ларцу в изголовье ложа, вынул из него перстень с карбункулом, Амоновым оком, и надел его на руку.

Начал бродить взад и вперед по комнате, бормоча себе что-то под нос быстро-быстро и невнятно, как в бреду.

Посередине комнаты, между четырех деревянных, лотосовидных, узорчато раскрашенных и раззолоченных столбиков, на низком, в одну ступень, кирпичном, устланном коврами помосте, стояло, по египетскому обычанию, два почетных кресла, одно против другого, для гостя и для хозяина.

Каждый раз, проходя мимо них, Мерира немного замедлял шаг и, не поворачивая головы, косился на одно из них. Лицо его было неподвижно, сонно. И все бормотал.

Так ходил очень долго. Лунное небо, светлевшее в окнах-щелях с каменными прутьями решетки, под самым потолком, меркло, темнело и потемнело наконец так, что решетки стало не видно: должно быть, луна закатилась.

Мерира все больше и больше замедлял шаг перед помостом. Вдруг остановился, пристально вглядываясь в одно из кресел, и усмехнулся. Взошел на помост, сел в другое кресло, заломил руки над головой, потянулся и зевнул.

– Прости, государь, – заговорил уже громко, взяточно, как бы с кем-то сидевшим на кресле против него. – Знаю сам, что зевать непристойно перед царем, да еще мертвым. Но ужасно хочется спать. И добро бы наяву, а то во сне. Бывает это с тобой? Спишь, а все-таки спать хочется... Изка Пархатый, тот при тебе не зевал бы. давеча я, признаюсь, ему позавидовал. Как дрожит, боится, а ведь душу бы отдал, чтобы тебя увидеть! Вот бы к кому тебе ходить. да видно, и вы, мертвые, как женщины; тех только и любите, кто

в вас не слишком верит... Кстати, надо бы дверь к нему запереть – давеча забыл. Ну как войдет – перепугается до смерти, бедный... А может, и не забыл – нарочно не запер: пусть войдет, – посмотрю, увидит ли тебя... Вот я до чего от скуки дошел. Скучно, Энра, очень скучно! Да неужто и там, у вас, такая же скука? Все то же, все то же – тухлая рыба в вечности... Или то же, да не так? Ну, как же, лучше или хуже? Молчишь? Не люблю я, когда ты так молчишь и смотришь на меня, точно жалеешь: для таких, мол, как ты, лучше, а для таких, как я, хуже... Ну что ж, так и будем молчать? Говори, зачем пришел? Помнишь, Энра, когда я тебя убить хотел, ты мне сказал: «Я тебя люблю, Мерира»... А сейчас, сейчас кто это сказал, ты или я?

Помолчал, как будто выслушал ответ, и потом опять заговорил:

– Любишь врага? Этому Он тебя научил? От Него и ходишь ко мне, спасаешь? Нет, Энра, того не спасешь, кто сам не хочет спастись. Ты погиб за то, что любил: дай же и мне погибнуть за то, что я люблю, – за мир, не тот, а этот, за эту жизнь, – живую рыбку, а не тухлую. Мир уже смердит от Него, и еще засмердит так, что в собственном смраде задохнется. Лжет Он, что мир убивает Его; Он сам убивает мир. Сыном Божиим назвал Себя для того, чтобы убить Сына истинного – мир... Знаю, трудно идти против Него. Пусть трудно, я не ищу легкого. Я первый восстал на Него, но не последний. Будут такие, как я, когда Он придет; Его убют и дело Его уничтожат; сами погибнут, но мир спасут. Так будет, Энра!

Опять помолчал и вдруг улыбнулся, как давеча, в Мару-Атону, когда, глядя на Макину березку, вспомнил Дио.

– Что это, какой ты сегодня живой, никогда еще не был таким! Вижу каждую складку одежды твоей: вон как мелко в переднике сплоены; хороши у вас плоильщики! Вон царская змейка на лбу; царство здесь отверг, а там принял? Каждую морщинку вижу в лице: вон милье, детские, около губ – твоя улыбка, Энра. Я так ее любил, да и сейчас люблю. Энра, Энра, ты знаешь, что я тебя люблю? Помолодел, похорошел. А что же Дио? С тобой? Ну, прости, не буду... Да, весь живой – живее быть нельзя. А ведь я знаю, что тебя нет, что ты мой сон... Прощай, Энра, я тебя в последний раз вижу. Я от Него хочу уйти. Думаешь, нельзя? Он всегда, везде, – от Него не уйдешь... Ну, поживем, умрем – увидим. Ты многого не знаешь, Энра: ты мудр, как бог, но не умен. Помнишь, ты сам говорил: «Мудрость уже не ум»... Да, чуть не забыл. Вот перстень, помнишь его? Возьми же на память... А-а, смеешься! Понял? да, испытать тебя хочу: если перстня у меня на руке не будет, когда проснусь, – значит, ты есть; а если будет – тебя нет. Ну что ж, возьмешь?

Тот, кто сидел перед ним, протянул руку к нему, страшно знакомую, прекрасную, с тем же, как в лице, выражением, детски жалобным, с голубыми, под смуглой кожей, сквозящими жилками, такими живыми, что казалось, в них льется живая, теплая, красная кровь. Вот и средний палец, чуть-чуть отставленный, чтобы легче было надеть перстень, и ноготок на нем смуглорозовый, с белой дужкой внизу.

«Если прикоснусь к этой руке, умру от ужаса», – подумал Мерира, и словно кто-то провел по спине его льдом. Но прикоснулся, надел перстень, почувствовал твердую, сквозь мягкое тело, косточку пальца, и ужаса не было, а было только желание знать: что это? кто это?

Вдруг взял его руку в свою: сухая, теплая, мягкая – живая, живая!

– Ты есть? Ты есть? Богом живым заклинаю, скажи, есть ли ты? – закричал он так, как будто с этим криком душа вылетала из тела.

...Очнулся, увидел перед собой пустое кресло и рядом с ним стоявшего на коленях Иссахара. Глядя на кресло, он весь дрожал и стучал зубами так, что Мерира слышал этот стук.

– Что ты, Пархатый, чего испугался?

Иссахар ничего не ответил и продолжал глядеть на кресло, стуча зубами.

– Он здесь был, – прошептал наконец, обернувшись к Мерире.

– Кто был здесь?

– Царь Ахенатон.

– Ты его видел?

«Нет», – хотел ответить Иссахар, но точно не он сам, а кто-то за него ответил:

– Видел!

И только что это сказал, он поверил этому так, как будто в самом деле видел.

– Слышал его?

– Слышал.

– Что ж он говорил?

– Что Сын к тебе придет.

– А еще что?

– Еще о перстне. Ты дал ему перстень, чтобы испытать.

– И он взял?

– Взял.

– А это что? – спросил Мерира, показав ему перстень на руке своей, и усмехнулся. – Ты слышал то, что я бредил, – вот и все чудо!

долго, молча Иссахар глядел на перстень с таким же ужасом, как давеча на пустое кресло. Вдруг поднял глаза на Мериру и воскликнул:

– Он здесь был! Он здесь был!

– да, был. Я тоже думаю, что здесь кто-то был, – ответил Мерира тихо, как будто задумчиво, и перестал усмехаться.

Помолчал, встал и проговорил:

– Ну, пойдем, пора, солнце скоро взойдет.

Х

Солнце еще не всходило, но уже порозовело небо с утреннею звездою, лучезарною, как маленькое солнце, когда Мерира с Иссахаром взошли по наружной лестнице Атонова храма на плоскую крышу-помост, где возвышался великий жертвенный Солнца, уцелевший от разрушенья; только златосеребряный диск Атона был сорван с него и стенное изваянье царя Ахенатона разбито вдребезги. Здесь возносились некогда словеса Атону, а теперь должно было совершиться служение Амону, с торжественным проклятьем Извергу.

Гор, в сонме жрецов, встретил Мериру. Все изумились, увидев с ним Изку Пархатого.

– Ступайте все, – сказал Мерира жрецам, взял Гора за руку, отвел его в сторону, заглянул ему в лицо и спросил: – Любишь ли ты меня, сын мой?

– Зачем спрашиваешь, отец? Знаешь сам, что люблю.

– Сделай же, о чем попрошу.

– Говори, я слушаю.

– Изверка пальцем не тронь, отпусти его; что бы ни случилось, помни: он невинен. Отпусти и всех, кого под стражу взял. Сделаешь?

– Сделаю.

– Клянись.

- Солнца да не увижу в вечности, если не сделаю!
- Господь да наградит тебя, сын мой, – сказал Мерира, обнял его и поцеловал. – А теперь ступай!

Гор взглянул на Иссахара и хотел что-то спросить, но Мерира нахмурился и повторил:

- Ступай!

Гор испугался так же, как вчера, в Мару-Атону, и так же послушался, молча повернулся, пошел. Но, спускаясь по наружной лестнице храма, остановился так, чтобы его не видно было с крыши и чтобы самому видеть все, что на ней происходит. Сонм жрецов стоял внизу, на первой площадке лестницы, а еще ниже – воины-телохранители.

- Петь Атону службу умеешь? – спросил Мерира Иссахара, когда они остались одни.
- Умею.

Подошли к малому жертвеннику у подножья великого. Белая пыль алебастра от разбитого изваяния царя Ахенатона хрестела у них под ногами, как снег.

Все было готово к богослужению: жертвенник убран цветами, и на нем курился фимиам.

Мерира стал перед жертвенником, лицом к востоку, где в мглистом ущельи Аравийских гор уже вспыхнул рдяный уголь солнца. Иссахар стал против него.

- Бог Атон есть Бог единый, и нет иного, кроме Него! – возгласил Мерира.
- Славить иду лучи твои, живой Атон, единый вечный Бог! – ответил Иссахар.
- Всем вам, роды пришедшие, роды грядущие, возвещаю путь жизни: Богу Атону воздайте хвалу, Богу живому, и живы будете! – возгласил опять Мерира, и Иссахар ответил:
- Хвала тебе, живой Атон, небеса сотворивший и тайны небес! Ты – в небесах, а на земле – твой сын, Ахенатон Уаэнра!

Солнце всходило и освещало жертвенник. Мерира поднял чашу возлияния и медленно, каплю за каплей, лил на раскаленные угли густое, красное, как живая кровь, вино.

- Господи! – возгласил он таким потрясающим голосом, что Иссахар опять задрожал, как давеча, когда, глядя на пустое кресло, видел Невидимого. – Господи! Прежде сложения мира открыл Ты волю Свою Сыну Своему,ечно сущему. Ты, Отец, в сердце Его, и никто Тебя не знает, – знает только Он, Твой Сын!

Потом, обернувшись спиной к Иссахару, налил нового вина в чашу, поставил ее на жертвенный стол, вынул из-за пазухи письмо, положил его тут же на стол, снял перстень с руки, поднял карбункул, высypал яд в чашу, взял ее в руки, опять обернулся лицом к солнцу и воскликнул трижды, тихим, как будто далеким, голосом:

- Слава Солнцу, Сыну грядущему!

Иссахар упал на колени и закрыл лицо руками: вдруг показалось ему, что Мерира видит Грядущего.

Тот поднес чашу к губам, выпил ее всю до дна, уронил, протянул руки к солнцу и, с тихим криком:

– ОН! ОН! – упал на помост, как падает человек, пораженный молнией.

Гор кинулся к нему, склонился над ним, закричал:

– Отец!

Но, заглянув в лицо его, понял, что он уже мертв.

Люди сбежались на крики Горы и схватили Иссахара, думая, что он – убийца. Но кто-то подал Гору письмо. Он распечатал его и прочел:

«Я, Мерира, сын Нехтанеба, великий жрец Атона, Бога живого, единого, убиваю себя за то, что хотел убить Праведника. Жив Ахенатон Уаэнра, Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный!»

Гор исполнил волю умершего: отпустил Иссахара. Когда тот пошел, все расступились перед ним, так чудно и страшно было лицо его.

Он подошел к самому краю помоста, протянул руки к восходившему солнцу и восхликал так, как будто знал, что голос его будет услышен до самого края земли:

– Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израиля: от Египта возвову я Сына Моего. Я посыпаю Ангела Моего, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете. Вот Он идет!

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfedor.ru/> Приятного чтения!